# Броненосец «Анюта»

# Лазарь Иосифович Лагин

## I. ТРОЕ УХОДЯТ В МОРЕ

Три краснофлотца лежали на вершине невысокого холма. Степан Вернивечер с «Червоной Украины», долговязый и молчаливый Никифор Аклеев с «Быстрого» и Василий Кутовой, которого все в батальоне считали пожилым человеком, потому что ему уже стукнуло целых тридцать два года. Он пришел в бригаду не с корабля, а из запаса. До войны он был шахтером.

Над холмом безмятежно голубело июльское небо. В нескольких метрах позади плескались о крутой берег теплые волны негромкого прибоя.

Впереди, за крохотной сопочкой, залегла смерть, близкая и неминуемая. Краснофлотцы знали это, и у них сейчас было только одно желание: подороже продать свои жизни.

Их мучила жажда. Но напиться было негде. В последний раз им удалось хлебнуть воды в пять утра, а теперь день уже клонился к закату. Ну что ж, нет, так нет. Придется умереть, не напившись.

В нескольких километрах к северо-западу дымились развалины Севастополя, и краснофлотцы старались в ту сторону не смотреть. Там уже были немцы. Они были и здесь, за сопочкой. Они залегли за ней и не очень торопились: краснофлотцам деваться было некуда. Зачем в таком случае зря рисковать! Такие это были рассудительные немцы. Наверно, многосемейные.

Но вот один из них не утерпел и осторожно высунул из-за склона сопки свою длинную физиономию в запыленной каске. Аклеев нажал спусковой крючок автомата, но выстрела не последовало.

Так и есть, кончился диск. Последний диск.

Правда, немца это не спасло. Потому что одновременно с Аклеевым нажал спусковой рычаг своего «максима» Степан Вернивечер. Короткая очередь разорвала невыносимую тишину, и немец клюнул носом в раскаленную землю. Потом голова убитого, ударяясь о камни, исчезла за сопкой. Его, очевидно, оттащили за ноги.

— Чистая работа! — похвалил Аклеев Вернивечера. Он повернулся к пулеметчику и увидел, что Вернивечер, отделив замок «максима», незаметно для немцев, над самой травой, швырнул его вниз, на гальку.

Значит, и у Степана кончился боезапас. Выходит дело совсем дрянь. У Кутового в диске его ручного пулемета давно уже оставалось только несколько патронов. Он должен был стрелять последним, за секунду до того, как все будет кончено.

Просто удивительно, как незаметно иссякли у них патроны. Ведь выпотрошили подсумки у всех убитых, и все-таки не хватило. У Аклеева мелькнула мысль, что в дальнейшем надо будет поэкономней обращаться с боезапасом и бить только наверняка. Но он тут же спохватился: ведь никакого «дальнейшего» уже никогда не будет. Печально, но факт. Они прекрасно понимали это, когда вызвались прикрывать отход своего батальона. Батальон благополучно добрался до пристани. Значит, все в порядке.

Сзади послышался шорох. Аклеев обернулся и увидел ползущего к нему Вернивечера. Сразу из-за сопки раздался выстрел. Крохотное облачко пыли поднялось чуть впереди Вернивечера и тотчас же растаяло. Тот замер, привычно прильнув к выгоревшей траве и громким срывающимся шепотом произнес:

— Давай кончать, братки!... Нету больше моего терпенья!

— Ну и что? — спросил его Аклеев.

— Кинемся вперед!... Крикнем «ура» — и вперед...

— Помереть спешишь, — холодно заметил Аклеев. — Не понимаю, почему такая спешка...

Он бросил взгляд на Кутового. Кутовой был очень бледен. Он молчал, крепко вцепившись в рукоятку своего пулемета.

— В нашем положении первое дело — спокойствие, — продолжал Аклеев и сам удивился своей разговорчивости. — Я так считаю: еще не все кончено. Например... например... — он лихорадочно думал, что бы такое предложить, и вдруг придумал: — Например, мы еще пляж не обследовали. Надо его обследовать.

— Игрушки! — сказал Вернивечер. — Самим себе головы морочить!

— А может, там какая пещера есть, — вмешался в разговор Кутовой. — Тогда мы там сховаемся. А может, там что другое найдется...

— Броненосец найдется! — разозлился Вернивечер. — Броненосец «Анюта» с карими глазками!

— Я тебе удивляюсь, Степа, — мягко возразил ему Аклеев. — Ты же военный человек. От тебя же еще может большая польза в военных действиях произойти, а ты: ах-ах, дайте мне моментально погибнуть! Спускайся вниз и разведай берег!

Вернивечер не тронулся с места.

— Товарищ Вернивечер, исполняйте приказание! — чуть повысил голос Аклеев. — Спускайтесь вниз и разведайте берег.

— Вот еще, командир нашелся на мою голову, — горько улыбнулся Вернивечер, но все же быстро отполз назад и скрылся за обрывом.

Прошло несколько очень долгих минут.

В стороне, в районе тридцать пятой батареи, два вражеских самолета неторопливо кружили над маленькой пристанью и сбрасывали бомбы.

Поднимая тучи пыли, прогрохотали и скрылись вдали на дороге немецкие танки.

Снова стало тихо. Немцы за сопочкой не торопились. Им не хотелось зря рисковать. Их дело было верное. Краснофлотцы догадывались, что немцы послали за подкреплением или минометом.

Над краем обрыва показалось возбужденное лицо Степана Вернивечера. Он торопливо поманил к себе Аклеева. Аклеев, осторожно пятясь, подполз к нему.

— Там катерок! — прошептал Вернивечер, тяжело переводя дыхание, и мотнул головой в сторону небольшого мыска. — Раздолбанный лимузинчик... Прибило к берегу... ей-богу!.. на нем один старшина... Только он скорее всего убитый... А может, и не совсем еще убитый, но только он весь окровавленный... И еще там цинки с патронами...

— А мотор как? — спросил Аклеев.

— За мотор не скажу. Не проверял. Чтобы не было лишнего шума, — ответил Вернивечер извиняющимся тоном.

— Это ты, Степа, правильно сделал, — сказал Аклеев. — Тогда тебе вот какая задача: экстренно сюда штук сто патронов.

— Уже! — подмигнул Вернивечер и выложил на траву несколько картонных коробочек. От прежнего его настроения не осталось и следа.

— Опять правильно! — заметил Аклеев.

Он подбросил патроны Кутовому, и тот набил два диска до отказа, чтобы прикрывать своим огнем отход Аклеева и Вернивечера. Но стрелять ему не пришлось. Немцы за сопочкой молчали.

Когда все трое уже были на берегу, Вернивечер вспомнил про свой разоренный «максим» и вернулся за ним. Потом разыскал валявшийся на гальке замок, водворил его на место и установил пулемет на корме лимузина.

— Главный калибр броненосца «Анюта»! — ласково похлопал он по исцарапанному и помятому кожуху. Потом окинул критическим взором потрепанное деревянное суденышко, вздохнул: — Типичный некрейсер! — и пошел обследовать мотор. Мотор был в порядке.

— Полный вперед! — скомандовал Аклеев и лег за «максим».

Мотор заурчал, винт вспенил теплую, прозрачную воду, и катер рванулся вперед как раз тогда, когда немцы, обнаружив, что их перехитрили, вытащили свой миномет на самый край обрыва.

— Не будем разбрасываться боезапасом, — сказал сам себе Аклеев и выпустил по противнику несколько очередей.

Катерок действительно серьезного уважения к себе не вызывал. Предназначенный для передвижения в пределах порта, он в открытом море был так же немыслим, как носовой платок в качестве паруса, как мальчишеская рогатка на артиллерийской позиции.

К тому же он был в нескольких местах продырявлен осколками. Выгоревшие синие шторы на его окнах были пробиты пулями.

Зато ниже ватерлинии пробоин не было.

На кожаном, облитом кровью диванчике умирал неизвестный старшина. Он бредил. Около него возился Кутовой, пытавшийся оказать хоть какую-нибудь помощь. Но слишком много у старшины было ран, и все они были рваные, осколочные: в голову, в грудь, в бедро, в плечо.

Немцы торопливо били по уходившему лимузину из миномета. Первая мина разорвалась по левому борту метрах в двадцати. Осколки с визгом пронеслись где-то высоко над головой Аклеева. Умирающий пришел в сознание.

— Пить... — прошептал он, но Кутовой выразительно развел руками.

Старшина сделал знак Кутовому. Когда тот наклонился, старшина еле слышно прошептал:

— А Севастополь-то... а! — и заплакал.

— Ничего, — сказал Кутовой, — Севастополь вернем... И очень даже скоро...

Аклеев прижимал фашистских пулеметчиков к земле экономными пулеметными очередями.

Умиравший послушал, хотел что-то спросить, но снова потерял сознание.

Несколько минут он пролежал спокойно, а потом внятно произнес: «Костя, а где утюг?» Ему, очевидно, казалось, что он готовится к увольнению на берег, и он порывался приподняться. Кутовой.растерянно удерживал его, а старшина бормотал:

— Дайте же человеку брюки выгладить!... Вот морока на мою голову... Ведь надо же... Дайте... человеку... брюки... выгладить...

Вскоре он затих, и Кутовой пошел на корму к Аклееву.

— Ты чуток отдохни, — сказал он Аклееву и занял место у пулемета.

Катер уже порядком отошел от берега, но мины все еще продолжали лопаться неподалеку и все время по левому борту. Вернивечер уводил катер все мористей и западней. Это тревожило Аклеева. Он пробрался в моторную рубку и сказал Вернивечеру:

— Ты голову имеешь или что?

— А в чем дело? — отозвался Вернивечер.

— А в том, что ты, верно, собираешься в Констанцу, а нам с Кутовым требуется на Кавказское побережье.

— Я от мин ухожу, — рассердился Вернивечер, — а ты цепляешься.

— А ты виляй, — Аклеев сделал рукой зигзагообразное движение. — Описывай зигзаги.

— Есть вилять, — сказал Вернивечер.

Солнце быстро ушло за горизонт, далекий берег слился с почерневшим морем, и Аклеев приказал Вернивечеру выключить мотор.

Он сам не заметил, как пришел к убеждению, что должен возглавить крохотный экипаж этой дырявой скорлупки. Недоуменный взгляд Вернивечера он воспринял как нарушение дисциплины и не на шутку рассердился.

— Выключайте мотор, товарищ Вернивечер, — жестко повторил Аклеев, переходя на официальное «вы».

— Уже приехали? — иронически откликнулся Вернивечер. — Прикажете швартоваться, товарищ генерал-адмирал?

— Где ваш компас? — ответил ему Аклеев вопросом.

— Какой компас? — растерялся Вернивечер. — Нет у меня компаса... Будто не знаешь...

— Тогда где ваша карта?

— И карты нету. Забыл, извиняюсь, на крейсере. Нет, ты, верно, тронулся.

— Тогда выключайте мотор и будем ждать утра. А то забредем черт знает куда и все горючее переведем. Понятно?

— Вот теперь понятно, — примирительно и даже с оттенком уважения промолвил Вернивечер и выключил мотор.

Сразу стало совсем тихо. Тишина разбудила Кутового, незаметно для себя задремавшего у пулемета, и Кутовой был очень доволен, что Аклеев не застал его спящим. Он уже побаивался Аклеева, как побаиваются требовательного, но справедливого командира.

Аклеев между тем выбрался из моторной рубки в каюту и склонился над старшиной. Старшина лежал прямой и очень тихий. Аклеев прижался ухом к его груди. Сердце не билось.

«Готов», — подумал Аклеев. И хотя за войну он видел уже немало смертей и еще сегодня потерял шестерых товарищей, ему стало не по себе. Ему казалось, что будь здесь, на катере, доктор, он обязательно спас бы старшину. А сейчас вот парень так и помер. Аклеев стал думать, что ему делать с умершим. Человек погиб в бою и заслужил, чтобы его похоронили как полагается. Однако с похоронами Аклеев решил подождать до утра.

— Отдыхать по боевым постам! — скомандовал он и уселся рядом с Кутовым. Вернивечера он не будил до самого утра, а Кутового часа в два ночи поднял и приказал разбудить его, когда начнет светать. Потом он спустился в каюту, лег на свободный диванчик и моментально уснул.

На заре состоялись похороны. Полагалось покойника зашить в койку, к ногам привязать колосник. Но не было ни койки, ни колосника. Старшину причесали, вымыли соленой морской водой его окровавленное лицо, надели ему поплотней бескозырку с золотой надписью «Черноморский флот», к ногам вместо колосника привязали винтовку, которой он защищал от врагов Севастополь, и уложили его на самом краю кормы. Краснофлотцы сняли бескозырки, и Никифор Аклеев произнес речь:

— Товарищи бойцы Черноморского флота, — сказал он, и оба его спутника без команды встали в положение «смирно». — Дорогие товарищи севастопольцы! Мы сейчас будем хоронить нашего боевого товарища, геройского защитника нашей Главной базы. Он до последней минуты своей жизни не сдавался подлому врагу. Его краснофлотская книжка пробита осколком и до того кровью залита, что нет возможности разобрать его фамилию, имя, отчество, а также с какой он бригады. Дело военное. Но мы обещаем тебе, дорогой наш товарищ, что мы жестоко отомстим за твою молодую жизнь и за наш Севастополь. И еще мы обещаем вспомнить тебя, когда снова вернемся в нашу Главную базу. Прощай, дорогой товарищ черноморец!

Он кивнул Вернивечеру и Кутовому, и пока они бережно опускали в воду покойного старшину, Аклеев отдал салют тремя короткими пулеметными очередями.

Его товарищи продолжали стоять «смирно», задумчиво следя за зыбкими кругами, расходившимися по воде над тем местом, где сейчас медленно шло ко дну тело старшины. А Аклеев, окинув рассеянным взглядом изувеченный лимузин, вдруг заметил за дверью флагшток с намотанным на нем флагом. И хотя до восьми часов было еще довольно далеко, он решил немедленно привести в исполнение возникший у него в то же мгновение план.

— С мест не сходить! — крикнул он на ходу, схватил флаг, юркнул с ним в каюту и тотчас вернулся на корму. — На флаг смирно! — скомандовал он и вставил флагшток в его гнездо.

Флаг тяжело повис в неподвижном воздухе. Алые эмблемы и почти черные пятна крови торжественно и грозно выделялись на его белом поле.

— Так вот, — сказал Аклеев, — чья это кровь, вам известно, и что этот флаг означает — тоже.

Он взглянул на Вернивечера, вспомнил его остроты насчет броненосца «Анюты», и ему стало обидно за корабль, которым он сейчас командовал.

— И вот еще что, — продолжал он, и его лицо налилось кровью, — тут отдельные лица шутки шутят над этим лимузином, выражаясь обидным словом «броненосец «Анюта». Так чтоб я больше не слышал это грубое слово. Понятно? Раз ты идешь на данном судне, так оно уж тем самым такое же непобедимое и опасное для врага, как броненосец, или ты не черноморец, а курица. А теперь, — сказал он, не дожидаясь ответа от Вернивечера, — теперь за дело...

## II. ЗОЛОТОЙ ЛИМУЗИН

Дел предстояло много. Сейчас, когда совсем рассвело, оказалось, что они отошли от берега всего кабельтовых на восемьдесят, не больше. Уже гудели над самым горизонтом первые немецкие самолеты. Пока что это были разведчики. Но вслед за ними должны были вскоре появиться в воздухе десятки бомбардировщиков и истребителей. Значит, надо было первым делом уходить мористей.

«Но куда? Каким курсом? — думал Аклеев. — На Турцию, а потом вдоль Кавказского побережья? Спасешься от самолетов, но сдохнешь от голода и жажды: без воды — раз, без продовольствия — два, без компаса — три, с малым запасом горючего — четыре. Или, что еще хуже, выбросит тебя на румынский берег. Нет, на Турцию — не резон. Идти надо прямым курсом на Новороссийск на востоке. Значит, сначала — прямо на юг, а через часочка полтора сворачивать на восток».

Он определился по поднимавшемуся из-за горизонта солнцу, заметил на далеком берегу ориентиры. Одной заботой как будто стало меньше.

— Вот тебе ориентиры, — показал он Вернивечеру, — действуй.

Лимузин задрожал и, оставляя за собой веселый пенистый бурунчик, тронулся в путь.

Издалека доносилось приглушенное расстоянием нервное хлопанье пушек-автоматов: наши катера-охотники отбивались от наседавших «мессеров».

Было ясно, что и лимузину предстояли, и, можно сказать, очень скоро, встречи с немецкими самолетами.

— Наблюдать за воздухом! — сказал Аклеев Кутовому и Вернивечеру.

И едва он успел возгромоздить «максим» на крышу каюты, как Кутовой крикнул: «Воздух!» — и пристроился рядом с ним со своим ручным пулеметом.

«Мессершмитт» шел из-под солнца на высоте около двух тысяч метров. Он быстро приближался, заметно увеличиваясь в размерах.

— Стрелять только по моей команде! — почему-то шепнул Аклеев Кутовому, как будто летевший немец мог услышать его слова.

— Та хиба же вин там чуе? Ты говори громко. На мой ответ, — фыркнул Кутовой, и на его смугловатом с редкими оспинками лице появилась неожиданно такая милая и добродушная улыбка, что Аклеев, несмотря на серьезность момента, в свою очередь, улыбнулся и смущенно махнул рукой.

И сразу обоим стало легко, как рукой сняло напряжение, в котором они только что находились. Теперь они ожидали страшного момента, когда придется открывать огонь, так спокойно и уверенно, будто и впрямь их пулеметы, не приспособленные для зенитной стрельбы, могли серьезно противостоять пушкам и пулеметам приближавшегося немецкого истребителя.

Но открывать огонь не пришлось. «Мессершмитт» сделал несколько кругов над подозрительной скорлупой и, очевидно, решив, что игра не стоит свеч, продолжал путь к берегу. А может быть, он уже израсходовал свой боезапас и возвращался на базу за новой порцией снарядов и патронов.

— Отбоя тревоги не будет? — спросил Кутовой, чтобы только что-нибудь сказать, и, получив ответ, что не будет, понимающе кивнул головой.

Пролетели еще два самолета, прогудели над самым лимузином и, тоже ничего не предприняв, улетели восвояси.

— Ну, так ще воевать можно, — сказал Кутовой. — Мы их не трогаем, они — нас. Только шея болит. Бо все время с задранной головой, как индюк.

— Еще война не начиналась, — ответил ему Аклеев. — Еще навоюемся до Новороссийска.

— И це верно, — охотно согласился Кутовой и, помолчав, добавил: — А я б сейчас ведро каши съел...

— Гречневой? Или какой другой? — усмехнулся Аклеев.

— Ну, пускай гречневой. Абы с салом.

— А мне бы дал?

— А то нет? Да мне в крайности и полведра хватит, — великодушно заявил Кутовой, хотел рассмеяться, но только крякнул и сказал: — Хоть бы воды попить маленько...

— Так вот что, друг, — очень серьезно сказал ему Аклеев, — продовольствия у нас нету и воды тоже нету. Так что давай забудем о таких разговорах. А то только зря дразнит аппетит.

— Это можно, — ответил Кутовой самым что ни на есть бодрым тоном, и оба они вспомнили, как, вызвавшись вчера прикрывать отход батальона, выбросили из своих сумок консервы и хлеб, чтобы взять с собой побольше патронов. Вспомнили и нисколько не пожалели, потому что раз война, значит только так и нужно поступать.

Сидеть за рулем в моторной рубке во время воздушной тревоги было для пулеметчика Степана Вернивечера горше смерти. Он сознавал, что раз он один умеет обращаться с мотором, то тут уж ничего не поделаешь. Но он все равно злился и чертыхался с необычным даже для него ожесточением.

Он слышал, как наверху один за другим прогудели три «мессершмитта». Каждый раз его небольшое, ладное и мускулистое тело напрягалось, он крепче ухватывался за штурвал и начинал наугад описывать зигзаги. Его бесила полная неизвестность. Что там происходит в воздухе? Почему не стреляют Аклеев и Кутовой?

Вернивечер понимал, что раз никто к нему в рубку не приходит, значит опасность еще не миновала. И все-таки он с трудом удерживал себя, чтобы не выскочить хоть на одну секунду на корму узнать обстановку, самому глянуть на пролетающие над лимузином машины.

Так прошло с полчаса, а может быть и больше, и Вернивечер, окончательно потеряв терпение, уже собрался было кликнуть кого-нибудь; когда в рубку ворвался Аклеев.

— Право руля! — крикнул он.

И Вернивечер положил право на борт.

— Видишь? — спросил Аклеев.

— Теперь вижу, — сказал Вернивечер. — Торпедный катер.

— Только ты ему бортов не показывай!... Держись к нему носом и действуй по обстановке! — одним духом выпалил Аклеев и стремглав помчался обратно к своему пулемету.

Торпедный катер шел в атаку на предельной скорости, наполовину выскочив из воды, вздымая высокие и тяжелые стены белой пены. Низкий рев его мотора приближался с неотвратимостью бомбы.

А лимузин еле заметно колыхался на месте, носом к атакующему врагу, и ждал, когда тот приблизится на дистанцию прицельного огня.

Вот немцы остервенело застрочили из пулемета, и густую, как бы желатиновую, поверхность воды зарябили всплески пуль.

Потом, сотрясая легкое тело лимузина, застучали пулеметы Аклеева и Кутового. А Вернивечер должен был в это время сидеть в своей постылой рубке за штурвалом. Занятие для пулеметчика!

Он всматривался в приближавшийся торпедный катер, прислушивался к очередям своего «максима», из которого сейчас бил по врагу Никифор Аклеев, и чертыхался. Эх, ему бы ударить по фрицам! Он бы им дал жизни!

Три немецкие пули одна за другой оставили круглые лучистые дырочки в ветровом стекле моторной рубки и просвистели над самой его головой.

Торпедный катер был уже совсем близко, очереди Аклеева и Кутового стали длинными и яростными.

Вернивечер успел заметить на промчавшемся катере долговязого немца в мокром, блестевшем на солнце клеенчатом реглане. Немец падал, как доска, навзничь на ребро рубки. Потом катер рванулся в сторону, и сразу часто затарахтела его мелкокалиберная кормовая пушка.

Снаряды вздымали невысокие столбики воды, и брызги играли на солнце всеми цветами радуги. Но то ли немецкие комендоры нервничали, то ли им не хватало выучки, они все время били мимо, и пушка вскоре замолкла: немцы снова выводили в атаку.

Лимузин медленно покачивался на волне, оставленной торпедным катером.

— Считаю, все прекрасно! — сказал Аклеев Кутовому и вытер тыльной стороной ладони вспотевший лоб.

Кутовой в ответ только кивнул головой. Ему было некогда. Стиснув зубы, он с быстротой бывалого пулеметчика набивал диски. Только покончив с дисками, Кутовой счел возможным поддержать начатый Аклеевшм разговор.

— Подходяще, — промолвил он и улыбнулся. — Бо сразу и фрицев бьешь и про голод забываешь. — Он вспомнил подстреленного немца. Скорее всего это был офицер. Кутовой хотел поделиться своими соображениями на этот счет, но Аклеев его уже не слушал. Просунув голову в каюту, он окликнул Вернивечера:

— Степан! Ты живой?

— Живой! — отозвался Вернивечер через раскрытую дверцу рубки.

— А ты часом не раненый?

— Пока целый.

— Ну, смотри. Если тебя ранит, так ты не стесняйся. Сразу докладывай! — крикнул Аклеев в заключение и снова взялся за пулемет: торпедный катер ложился на боевой курс.

И тут случилось неожиданное. Вместо того, чтобы терпеть, пока немцы подойдут на расстояние действительного пулеметного огня, Вернивечер запустил мотор, и лимузин стремительно помчался навстречу торпедному катеру.

— О це вирно! О це вирно приказал! — с веселым бешенством крикнул Кутовой. Он был уверен, что Вернивечер действовал по приказанию Аклеева, и Аклееву некогда было его разубеждать.

Теперь к скорости торпедного катера прибавился самый полный ход лимузина. Они сближались с такой быстротой, словно падали друг на друга. Рев моторов, будоражащая дробь пулеметов, рокот и тяжелый плеск мощных бурунов разметали в клочья ясную и прохладную утреннюю тишину.

— Попытаемо нервы у фрицев! — не унимался Кутовой, с которого будто ветром сдуло его обычную невозмутимость.

Каждый раз, когда он участвовал в наступательном бою, когда над ним нависала угроза скорой, но славной смерти, Кутовой преображался. Его чуть тронутое оспой лицо с милыми ямочками на щеках покрывалось жарким степным румянцем, и он начинал жестоко ругаться.

— Попытаемо нервы у фрицев, трясца их матери! — кричал он, поливая торпедный катер расчетливыми и злыми очередями.

Немецкие пули невидимыми стайками посвистывали над головами краснофлотцев. С мягким хрустом прошивали они хилое тело лимузина. Летели щепки. Уже слышны были слова команды на чужом, ненавистном языке. Вот сейчас в треске дерева и грохоте взрывов столкнутся насмерть немцы и русские. Но Вернивечер продолжал идти на сближение.

Снова круто рванул в сторону торпедный катер, но не успела еще заговорить его пушка, как над машинным отделением заполыхало почти незаметное синее пламя, и тотчас же повалил густой черный дым.

— Горыть, жаба!... Горыть, гад! — восторженно закричал Кутовой и стал вместе с Аклеевым бить по немцам, выскакивавшим наверх тушить пожар. Один из немцев, коротенький, в трусах, выбежавший с огнетушителем, завертелся на месте, не выпуская из рук огнетушителя, упал на скользкую покатую палубу и плавно скатился за борт. Другой, с растрепавшейся желтой шевелюрой, тяжело свалился обратно в люк, из которого только наполовину успел высунуться.

Теперь немцам было не до повторных атак.

Вернивечер сгоряча кинулся их преследовать, но зря рисковать было ни к чему. К тому же надо было экономить горючее. Аклеев, просунув голову в распахнутую дверь каюты, рявкнул:

— Лево руля!

— Стоп! — скомандовал Аклеев минуты через две-три.

Фашистский катер выжимал из своих подыхавших моторов последние силы, чтобы выйти из зоны прицельного огня и в безопасности тушить пожар. Но огонь добрался до боезапаса, и высоко в небо поднялся в грохоте взрыва столб огня, дыма и обломков. Немного повисев в воздухе, дым рассеялся, и на расходившихся широкими кругами волнах, покачиваясь, поплыли несколько закопченных щепок и измочаленная взрывом половинка спасательного пояса.

— Считаю, нам все-таки повезло! Расскажешь, так, пожалуй, еще и не поверят! — сдержанно произнес Аклеев. Но как он ни старался сохранить безразличное выражение лица, оно невольно расплывалось в улыбке. Совсем по-мальчишески он задорно ткнул Кутового кулаком в бок и, уже нисколько не заботясь о выражении своего лица, побежал в моторную рубку, к Вернивечеру.

— Вот тебе, Степка, и «броненосец «Анюта»! Золотой у нас лимузин!... Скажешь, нет? — крикнул он, вваливаясь в рубку, и от полноты чувств хлопнул Вернивечера по плечу.

Вернивечер завыл от боли и, потеряв сознание, рухнул на палубу.

Ладонь Аклеева была в крови.

## III. ЗАХОЧЕШЬ ЖИТЬ-НЕ УМРЕШЬ

Двумя фашистскими пулями был ранен Степан Вернивечер. Но, как это нередко бывает в пылу боя, он этого сначала и не почувствовал: все его внимание было приковано к форштевню стремительно приближавшегося торпедного катера. Когда немцы снова свернули с курса и особенно когда у них начался пожар, Вернивечер рванулся было за ними в погоню, но по приказу Аклеева свернул в сторону и выключил мотор. Он наслаждался зрелищем гибнущего катера и восторженно ругался, когда падали подстреленные немцы.

И только когда в свежем голубом небе совсем растаял мохнатый столб огня и дыма, возникший над местом взрыва, Вернивечер вдруг почувствовал непонятную слабость и боль в правом плече и чуть повыше локтя.

Как раз в это время и ввалился в рубку ничего не подозревавший Аклеев...

— Кутовой! — растерянно крикнул Аклеев, бросившись поднимать обеспамятевшего Вернивечера. — А ну сюда! Живо!

Сотрясая лимузин, примчался с кормы Кутовой, увидел склонившегося над Вернивечером Аклеева и испугался:

— Убили?

— Живой, — сказал Аклеев и вместе с Кутовым стал перетаскивать Степана в каюту, на сиденье.

— Тяжелый! — произнес, отдуваясь, Кутовой, с трудом перешагнув со своей громоздкой ношей через высокий коммингс. — Чистый танк, ей-богу... А с виду ведь ни за что не скажешь, чтоб толстый.

— Еще дня три не поешь, — тебе воробей тяжелее танка покажется.

— Тю-у! — протянул Кутовой. — Если еще три дня не есть, тогда готовь гробы...

— Захочешь жить — не умрешь, — сказал Аклеев и, рассердившись на самого себя за такой несвоевременный и вредный разговор, отослал Кутового назад к пулемету, а сам перевязал Вернивечеру плечо и перетянул ему руку повыше локтя жгутом.

Кровь перестала хлестать, но Степан все еще не приходил в себя.

«Другой бы, может, и вовсе помер, — с раскаянием подумал Аклеев, вспомнив, как он на радостях ахнул Вернивечера по плечу. — Здоровый и тот бы скатился с катушек. А тут у человека, может, плечевая кость раздроблена...»

Он присел на край диванчика в головах у раненого моториста, сквозь разбитое окно опустил руку за борт, зачерпнул ладонью прохладной утренней воды и плеснул в лицо Вернивечеру.

Пока тот медленно раскрывал глаза, Аклеев успел еще подумать, что Степану с перебитым плечом с рулем не справиться и что придется приставить к этому делу Кутового. Наука не очень хитрая, и Степан объяснит Кутовому что к чему. Правда, огненная мощь лимузина сократится вдвое: вместо двух пулеметов сможет действовать только один. Но тут уж ничего не поделаешь. Могло быть куда хуже.

— Ты меня, Степан, прости, — сказал он очнувшемуся наконец Вернивечеру. — Я же не знал, что ты раненый...

Но Вернивечер вместо ответа снова устало закрыл глаза.

— Ты... почему... бензином? — прерывисто прошептал он, морщась от сильной боли.

«Очумел парень! — с тоской подумал Аклеев. — Лепечет без всякого понятия».

— Ты лучше отдохни, Степа, — сказал он Вернивечеру. — Ты лучше, Степа, пока не разговаривай.

— Почему... бензином... плещешься? — строго повторил Вернивечер, не открывая глаз. — Тебе что, моря не хватает?

Аклеев благоразумно решил не вступать в пререканья с Вернивечером. Он поднял руку, чтобы поправить свисавшие на глаза давно нестриженные волосы, и вдруг почувствовал, что рука пахнет бензином.

От мгновенной догадки его словно варом обдало.

Аклеев рывком высунулся из окна каюты и увидел то, чего он опасался в этот миг больше «мессершмитта», больше торпедного катера, даже больше шторма.

Море вокруг лимузина было покрыто сплошной бледной маслянистой пеленой, мирно игравшей на веселом солнце всеми цветами радуги.

Тогда Аклеев, все еще не веря несчастью, рванулся в моторную рубку и попытался включить мотор, но тот, несколько раз чихнув, бессильно замолк.

Случилось непоправимое: фашистская пуля пробила бензобак. Все горючее ушло в море.

— Пойдем под парусом, — сказал Аклеев, когда Вернивечер, превозмогая боль и слабость, вполз кое-как в моторную рубку и самолично обследовал создавшееся положение. — Очень даже просто. Пойдем под парусом. В лучшем виде...

Вернивечер с сомнением посмотрел на него, но промолчал.

Он собрался было уже сказать, что дело — дрянь, но не сказал. И совсем не потому промолчал, что вдруг пришел к другому выводу.

«Пускай его утешается, — подумал он об Аклееве. — Пусть утешается, если ему так веселее помирать. Пускай и Кутовому голову морочит. Тем более, тот человек сухопутный, того в чем угодно убедишь. А я могу в случае чего помереть и без самообмана».

Но совсем промолчать он не смог.

— А парус из чего делать? — спросил он Аклеева. — Плащ-палатки остались аж на Историческом бульваре. Вроде, за ними далековато ходить.

— Кабы были плащ-палатки! — мечтательно отозвался Аклеев, стараясь не замечать неверия, сквозившего в каждом слове Вернивечера. — До Новороссийска, браток, приходится о плащ-палатках забыть. А вот из этого должен получиться парусок... На худой случай, конечно... То есть, как раз на нынешний...

И он, задрав голову, критически глянул на потолок. Глянул и твердо заключил:

— Обязательно должен получиться. Факт.

— Форменный же штиль! — снова не выдержал Вернивечер, кивнув на блестевшую за окном действительно зеркальную гладь моря. — Сами что ли, будем дуть в парус?

— Будет ветер, — сказал ему Аклеев, — чего-чего, а этого добра у нас будет сколько угодно. Так, что даже не будем знать, куда его девать...

И так как он сам был далеко не уверен в своих силах, то решил пресечь разговор в самом начале.

— На корме! — окликнул он томившегося у пулеметов Кутового.

— Есть на корме! — обрадовался Кутовой, которому стало легче на душе, когда он услышал голос Аклеева, уверенный и спокойный голос командира.

— Наблюдать за воздухом и водой! — продолжал Аклеев, с трудом приподнимая тяжелое кожаное сиденье и извлекая оттуда топор, ломик и, на всякий случай, новенькое, выкрашенное шаровой краской ведро.

— Есть наблюдать за воздухом и водой!

Значит, об остальном, кроме наблюдения за возможным появлением противника, ему — Василию Кутово-му — беспокоиться нечего. Об остальном берет на себя заботу сам Аклеев.

— Ну, а я буду крышу рубить... На парус... — уже обыденным тоном проинформировал Аклеев Кутового и принялся, орудуя топором, со скрежетом и треском отдирать покатую крышу лимузина.

Степан Вернивечер, как бы он скептически ни относился в душе к затее Аклеева, не мог позволить себе сидеть сложа руки, когда товарищ его работал.

— Эх, ты мальчик! — промолвил он, больше всего опасаясь, как бы Аклеев не подумал, что он серьезно собрался ему помогать. — Разве так отдирают крыши?

И с таким видом, будто снимать крыши с лимузинов для него самое привычное дело, Вернивечер здоровой левой рукой взял с сиденья ломик, приподнял его, чтобы показать, как надо работать, но от боли и сильной слабости побелел и, чуть не потеряв сознание, рухнул на сиденье.

— Ты, Стёпа, ляг и отдыхай, — сказал ему Аклеев. — Тут работенка не шибко мудрящая. А тебе надо в норму входить.

Вернивечер послушно лег на сиденье, оттуда снова глянул на орудовавшего топором и ломиком Аклеева, захотел съязвить, но вместо этого повернулся на бок и, уткнувшись лицом в дырявую стенку лимузина, не то от слабости, не то от боли, а скорее всего от нестерпимого сознания своего бессилия, заплакал.

Кутовой не понял, как это из крыши получится парус, но расспрашивать не стал.

— Значит, так надо в таких случаях, — решил он и стал еще усердней наблюдать за водой и воздухом.

Из всех троих только у Кутового мореходные качества их лимузина не вызывали никаких сомнений. Ему это было вполне простительно, впервые в жизни выходил он в море. До войны, на «гражданке», он имел дело с морским транспортом только в летние выходные дни, на пруду в их шахтерском поселке. Пруд этот старые шахтеры, посмеиваясь, величали «Чудским озером».

Кутовой окинул уважительным взглядом лимузин и усмехнулся, вспомнив неказистые лодчонки «Чудского озера» с их обгрызанными, несоразмерно короткими и толстыми веслами и какими-то хрюкающими уключинами. В сравнении с ними ладный и стройный лимузин с его каютой, моторной рубкой, винтом, штурвалом, с трапчиком, ведущим с кормы в каюту, с окнами, да еще завешенными матерчатыми занавесками, выглядел могучим кораблем, чудом судостроительной техники.

Правда, кроме обычных двухвесельных лодок базировались на «Чудское озеро» и большие, четырехвесельные, которые без всяких на то оснований назывались в этом поселке баркасами.

Плавать на баркасах было удобней и безопасней, но девчата, которые обычно из пустого тщеславия понуждали своих безропотных поклонников на всяческие траты, все же предпочитали почему-то дорогим и шикарным баркасам утлые двухвесельные душегубки, на которые и ступить нельзя было без риска опрокинуться в воду.

Проходило несколько лет, девчонка выходила замуж, быстро обрастала семейством, становилась благоразумной. Теперь она появлялась на голубенькой дощатой пристани солидно, под руку с мужем и всеми своими чадами. Теперь ее уже ни за что нельзя было заманить на маленькую лодку.

Пускай и дороже, но только на баркас.

И так было со всеми. Все его знакомые девчата одна за другой окончательно перешли с двухвесельных лодчонок на баркасы, и это означало, что время не стоит на месте, что люди становятся старше. Вот и он — Вася Кутовой, ученик врубового машиниста, сын старого подрывника, Афанасия Ивановича Кутового — сам не заметил, как превратился из Васи в Василия Афанасьевича — знатного человека шахты номер два-бис. И он тоже перекочевал в конце концов вместе со своей сероглазой и пышноволосой Настей с двухвесельных лодок на баркасы. Теперь они гребли на пару с женой, и она то и дело вскрикивала:

— Костя! Мученье мое! Ну, утонешь же!...

Это ее пугал русоголовый сынишка, вертлявый и живой, как ртуть.

А потом Настя и вовсе перешла на руль, а гребли Василий Афанасьевич и Костя — двенадцатилетний озорник с отцовскими ямочками на щеках, первый силач на дворе нового жилкомбината и пламенный футболист.

Большое румяное солнце нехотя расставалось с прудом. Оно медленно уходило за Карпаты —так местные шутники называли высокую громаду террикона и, напоследок зажигало ослепительные пожары в пыльных окнах шахтного копра. С лодок солнце провожал задумчивый гам баянов, гитар, мандолин, балалаек, человеческих голосов. Играли и пели на каждой посудине свое и часто печальное, а получалось все равно весело и хорошо и не хотелось уходить с пруда. Но уходить все же надо было, и тогда обычно с какой-нибудь лодки затянет, бывало, чистый молодой тенорок: «Солнце нызэ-енько...», и на остальных лодках вступали: «...вечор блы-ызэ-ень-ко...», и на остальных лодках вступали: «...вечор блы-ызэ-ень-ко...», и Кутовой тоже подтягивал, и Настя, и Костя высоким своим мальчишеским альтом, и вот уже все на пруду пели ласковую и душевную песню, а в потемневшем небе тем временем робко возникали первые бледные звезды поздних летних сумерек...

Удивительное дело, каждый раз, когда Василию Кутовому выдавалась на войне возможность немножко помечтать, сразу всплывали перед ним эти теплые летние сумерки в родном поселке и неторопливое возвращение с катания домой, в новую квартиру. Каждый раз их встречала с облегчением его старуха-мать и каждый раз с облегчением произносила одну и ту же фразу: «Ну, слава богу, все живые!» — и звала отважных мореплавателей к столу. За столом ждал старик-отец, считавший ниже своего достоинства показывать, что он тут без них скучал.

И еще почему-то вспоминалась Кутовому Лизавета Сергеевна, сварливая и желчная жена добрейшего забулдыги-штейгера Пискарева. За глаза ее называли «штейгериха», а то и просто «язва». И когда произносили слово «язва», то все сразу знали, о ком идет речь. Лизавета Сергеевна приходила по вечерам, когда она могла застать самого Василия Афанасьевича. Каждый раз она приносила ему одну и ту же жалобу на Костю: Костя воровал яблоки из ее сада.

Нажаловавшись, штейгериха кидала торжествующий взгляд на Костю и уходила. Кутовой вежливо провожал ее до дверей и запирал их на ключ. Тем самым Косте отрезался путь отступления на улицу. Потом Кутовой со зловещим видом снимал с себя ремень и начинал гоняться вокруг стола за своим преступным сыном.

Костя был, как мы уже упоминали выше, футболист, ловкий и увертливый правый бек, и поймать его было трудно, но не невозможно. От матери своей Костя спасения не ждал. Когда-то, лет семи, на самой заре своей хищнической деятельности, он попробовал однажды воздействовать на ее материнское сердце. Он возопил: «мамо, ратуйте!»-таким голосом, что и камень разжалобился бы. Но Настя, скрепя сердце, промолчала. С тех пор Костя в таких случаях полагался только на свои ноги, стараясь во что бы то ни стало выиграть время: авось кто-нибудь постучится. Гости становились в такой момент единственной его надеждой. Но если гостей не было, то быстрые ноги и ловкость Косте не помогали. Запыхавшийся от погони отец семейства, Василий Афанасьевич Кутовой, мощной рукой вытаскивал из-под стола или кровати залезшего туда в отчаянии Костю, клал своего первенца к себе на колени и безжалостно отсчитывал ремнем десять ударов, приговаривая:

— Ну в кого он, я вас спрашиваю, уродился?

Увы, нет на свете справедливых отцов! Косте ничего не стоило бы сообщить своему разгневанному родителю, в кого он уродился. Дедушка Афанасий Иванович не раз вспоминал, как он за те же преступления, совершенные, кстати говоря, в том же саду, нещадно порол своего сыночка Васю.

Но Костя понимал, что такие напоминания ни к чему хорошему не приведут, и поэтому во время экзекуции только сопел, прощения не просил, не унижался, держал себя стойко и, насколько это было возможно в его прискорбном положении, даже независимо.

— Ничего не скажешь, — усмехнулся Кутовой, продолжая усердно наблюдать за водой и воздухом, — гордый пацан. Вырастет, человеком будет.

Что же будет с Костей, если он — Василий Кутовой — погибнет на войне? Деда Афанасия Ивановича немцы расстреляли вместе с двумя сыновьями Пискарева за то, что они подорвали копёр на родной шахте. Бабка не то с горя, не то с голоду умерла. Это ему известно. Ему об этом сообщил письмом с Южного фронта младший брат Сережа — капитан-танкист. А тому рассказывал пришедший из-за линии фронта знакомый шахтер-партизан. Он же рассказал, что Настя с Костей куда-то уехали, эвакуировались, а куда именно, никто толком не знал. Кто говорил — на Кубань, а кто — в Сибирь. А может быть, на Волгу. Как они туда добрались в эти незнакомые края и добрались ли? Без денег, без родных, как птицы небесные. А может быть, их эшелон фрицы разбомбили? А если Настя с Костей и доехали благополучно, то как они проживут до конца войны — одинокая женщина с пацаном, и как они потом доберутся назад, на родину, в Донбасс, и кто их там встретит, и как они там устроятся, — вдова с сироткой?

Каждый раз, когда Кутового начинали одолевать эти грустные мысли, он утешал себя: «Ничего! Добрые люди не оставят семью погибшего моряка. Да и сама Настя очень даже неглупая женщина. Не пропадут!»

Так он думал и вчера, когда они еще лежали на той сопочке и считали, что доживают последний час жизни.

Но сейчас, когда ему с товарищами удалось из-под самого носа фрицев уйти в открытое море и особенно после того, как они — шуточки сказать! — потопили фашистский торпедный катер, Кутовой был уже твердо убежден, что вернется с войны живым и здоровым. «Ого! — думал он, улыбаясь своим мыслям. — Все в лучшем виде образуется. А Костю будем учить на морского командира».

Только что пришедшая ему в голову прекрасная идея — готовить Костю в морские командиры — так понравилась Кутовому и повлекла за собой столько других мыслей, что он не заметил, как Аклеев, отодрав половину крыши лимузина, внезапно прекратил работу и пришел к нему на корму.

— Кутовой! — тихо промолвил Аклеев, и Кутовой даже вздрогнул от неожиданности. — Ты ничего не заметил?

— А что? — встрепенулся виновато Кутовой. — Самолетов вроде не видать... И ничего такого другого тоже...

— Тебе не кажется, — еще тише промолвил Аклеев, покосившись на впавшего в полузабытье Степана Вернивечера, — тебе не кажется, что нас несет к берегу?

В сущности, ничего удивительного не случилось. Ветер мог быть мористый, а мог быть и тот, что сейчас с мягкой настойчивостью палача, которому некуда спешить, подталкивал лимузин все ближе и ближе к немцам, к гибели.

До берега было еще далеко. Он виднелся, вернее, угадывался на самом горизонте — тонкий, рыжеватый, волнистый краешек необъятного купола голубого неба.

— Если не усилится, — промолвил Аклеев, проделав в уме какие-то вычисления, — то как раз к вечеру нас и прибьет к берегу. У тебя все диски набиты?

— Все, — ответил Кутовой, — и обе ленты тоже. Значит, снова воевать на берегу?

— Если нас раньше не потопят... Только вряд ли...

Дело в том, что вчера, уходя от обстрела с берега, Вернивечер увел лимузин к северо-западу от путей, которыми уходили на Новороссийск наши корабли с эвакуированными войсками. Сейчас ветер гнал лимузин прямо к берегу, то есть к тем местам, где немцы обосновались давно, еще в самом начале осады Севастополя. А фронт, если так еще можно было называть клочок перепаханной бомбами и снарядами рыжей земли, — фронт был сейчас у самой тридцать пятой батареи. Там немцы и подкарауливали с воздуха, с берега и на воде наши уходившие корабли. Здесь же, очевидно, было совсем тихо, тыл.

Все эти соображения Аклеев и выложил перед Кутовым. Выходило, по его словам, что фрицев на этом участке берега может и вовсе не оказаться. В крайнем случае, придется столкнуться с какими-нибудь тыловиками, и если удастся справиться с ними без особого шума, то можно будет попробовать пробиться в горы, к партизанам.

— Через весь Крым? — усомнился Кутовой.

— Почему же через весь? — возразил Аклеев. — Но, конечно, придется пробиться к Байдарским воротам.

— Не выдержит этого Вернивечер, — сказал Кутовой. — Ослабел, совсем сонный стал. Чересчур много потерял крови.

— Не выдержит — на себе потащим.

— И я так думаю, — согласился Кутовой и, помолчав, добавил: — А если нам, скажем, весла сделать, а? И на веслах пойти против ветра? Из этих палок, — он указал на бортовые поручни, — очень великолепные весла могут получиться.

— Ну это, положим, не палки, а леера.

— Ну, из лееров.

— А грести кто будет?

— Мы с тобой и будем. На пару. Ты не сомневайся. Я грести умею.

— А на сколько нас хватит двоих? — усмехнулся Аклеев. — Кабельтовых на два от силы. Второй день не евши.

— Значит, к берегу?

— Выходит так... По крайней мере, воды напьемся... И фрицев нащелкаем...

— И то ладно, — согласился Кутовой, а про себя подумал, что вряд ли Настя сама догадается определить Костю в морское училище. — Значит, зря крышу отдирал? Не получится из нее парус?

— Может, и не зря, — спокойно отозвался Аклеев. — Только маневры против ветра у меня с ним не получатся. Мой парус только для попутного ветра.

Они присели на трапчике и обсудили план действий на берегу. Решено было, что Аклеев с ручным пулеметом сойдет разведать местность, а Кутовой пока останется на лимузине у «максима». О Вернивечере почти и не было разговора. Вернивечер из строя выбыл окончательно. Если он все же будет настаивать на своем участии в бою, условились сказать, чтобы подождал, пока кого-нибудь из них убьет или тяжело ранит. Тогда, мол, Вернивечер и займет за пулеметом место выбывшего из строя.

Кроме того, решено было пулеметы убрать в каюту и самим уходить туда же при появлении самолетов и судов врага, чтобы лимузин производил впечатление разбитого и брошенного своим экипажем. Наполовину сорванная крыша должна была усугублять это впечатление.

Договорились — и сразу стало нечего делать. Надо было бы, правда, окатить водой палубу, чтобы смыть с нее кровь, но решили с этим повременить, чтобы не тревожить уснувшего Вернивечера.

Так и остались они оба сидеть на корме, молчаливые, хмурые, погруженные в свои невеселые думы. Ветер дул нехотя, берег приближался медленно, почти незаметно, и солнце совершало свой путь по небосводу нетороплн во, словно вахтенный, которому еще далеко до смены

Кругом широко раскинулся пейзаж, утомительно однообразный в своем великолепии. Ослепительно блестело чуть подернутое рябью море. Над головой висело пустое и знойное июльское небо. Наверху голубизна непорочной неживой чистоты, внизу такая же безукориз ненная равнодушная синева. Не мелькали белым острым крылом чайки, не выскакивали из тяжелой синевы крутые спины дельфинов с покатыми треугольниками плавников. Чаек распугала канонада, дельфинов разогнали снаряды, мины, бомбы.

Только на самом горизонте чуть видно набухало сероватое облачко.

Аклееву вспомнилось, как еще до войны приходил на их эсминец лектор и рассказывал, что на глубине не то трехсот, не то четырехсот метров начинается в Черном море мертвое царство сероводорода. От этой мысли Аклееву стало еще муторней на душе.

Он глянул на Кутового. Кутовой сказал: «Красиво!» — и снова замолк.

Время от времени Аклеев вглядывался в облачко, всплывающее из-за горизонта. Оно возбуждало в нем кое-какие надежды, но он не спешил делиться ими с Кутовым. Аклеев понимал, что значит в теперешней обстановке еще одно разочарование.

— Ты бы пошел отдохнуть, — сказал он Кутовому.

Кутовой только головой мотнул и остался на корме.

Так прошли в безмолвии час или два, а может быть, и все три. Потом скрипнула дверь каюты, и в ней показался Вернивечер. Его небритые щеки, покрытые редкими желтоватыми волосиками, ввалились и приобрели нехороший землистый оттенок, запавшие глаза блестели нездоровым блеском. Вернивечер еле держался на ногах, но у него и в мыслях не было жаловаться.

— Загораем? — усмехнулся он и оперся о низенькую притолоку двери. — Самая, между прочим, здоровая обстановка. Воздух, солнце и вода.

— Садись, Степа! — сказал Кутовой и уступил ему самое удобное место, на трапчике.

Вернивечер послушался, сел.

— Мы тут, Степа, обсуждали обстановку, — начал Аклеев, — и мы решили...

— Знаю, — прервал его Вернивечер и снова усмехнулся, — я все слышал. Мне — ждать, пока кого-нибудь из вас убьет... А кто останется жив, тот меня на себе потащит к партизанам... Через Байдары... Для комиссии все ясно...

Когда настает после жаркого боя веселый миг бачковой тревоги, а по-сухопутному — час приема пищи, могут распаленные удачей и радостью жизни бойцы и посудачить, и поязвить, и потрепать языками насчет девчат и любви. Стоит только кому-нибудь первое слово сказать, и пойдет тогда и хвастовство, и розыгрыш, и великий брёх, а по-морскому «травля».

Но в томительные и торжественные часы перед боем, когда не знаешь, увидишь ли ты еще когда-нибудь солнца над своей головой и привольное море за бортом родного корабля, тогда, словно шелуха, слетает с бойца незатейливое и грубоватое молодечество. И снова чисты тогда матросы и в словах и в помыслах, как чистое дело, за которое они, быть может, совсем скоро отдадут свою жизнь. И хочется им тогда беседы душевной и простой: о родных краях, о семье, о детях, о стариках, о жене, о любимой. Вытащат они тогда на свет божий заветные фотографии, порыжевшие и покоробившиеся от злого матросского пота, будут долго и как будто впервые всматриваться в милые черты, и товарищам своим покажут, и еще раз глубоко, сердцем, душой, всей кровью почуют святость и необходимость подвига во имя Родины и счастья близких и любимых.

Коли спросит у тебя товарищ в такую минуту, есть ли у тебя любимая, отвечай коротко «да», «нет», «конечно». И обязательно осведомись: «А у тебя?», потому что спросивший хочет говорить сам...

Глянул Вернивечер на Аклеева:

— Ой, Никифор, да у тебя же борода плюшевая!

Тогда, в свою очередь, глянул на Аклеева Василий Кутовой и удивился, до чего метко сказал Вернивечер. Щеки и подбородок были у Аклеева покрыты ровной и густой шелковистой щетиной забавного зеленовато-коричневого цвета. Кутовой даже вспомнил по этому случаю игрушечного медвежонка, которого давным-давно покупал Косте ко дню рождения, — щеки у Аклеева стали ни дать ни взять плюшевые.

Аклеев провел ладонью по лицу и, чтобы поддержать разговор, важно заметил:

— Отпускаю бороду. Как адмирал Макаров.

— Тогда тебя девушки любить не будут, — предупредил его Вернивечер. — И создается для тебя, Аклеев, угрожающее положение... А ты свою жену любишь? — обратился он без всякой видимой связи к Кутовому:

— Люблю, — ответил Кутовой, — она у меня хорошая.

— А ты, Аклеев?

— А я неженатый, — сказал Аклеев.

— Ну, значит, девушку имеешь?

На этот вопрос Аклееву не легко было ответить. И если бы Вернивечер знал его поближе, то, пожалуй, и вовсе воздержался бы от такого вопроса. Но они были знакомы всего лишь шестые сутки, с тех пор, как из остатков нескольких обескровленных батальонов с трудом укомплектовали один, сразу же пущенный в дело. При других условиях бывалый и тонкий Вернивечер понял бы, что Аклеев не из тех людей, которые легко раскрывают перед другими, пусть даже и ближайшими друзьями, свои сердечные тайны.

Флегматичный, молчаливый и суховатый на вид, он был горд до застенчивости. Когда он встречал приглянувшуюся ему девушку, его томила жестокая и непреодолимая боязнь показаться смешным, и он проходил мимо нее с суровым и даже злым выражением лица. Он не мог себя заставить посмотреть этой девушке в глаза и в то же время изнемогал от желания сделать это. А так как девчата в наш век пошли на редкость наблюдательные, то они с первого взгляда разгадывали действительные чувства, обуревавшие этого долговязого краснофлотца с умным и упрямым лицом и большими синими глазами под выгоревшими на крымском солнце густыми бровями. Многим Аклеев, несмотря на свою застенчивость, а может быть именно за нее, нравился, но сам он об этом и не подозревал. Он был не очень высокого мнения о себе.

До флота, на «гражданке», в Москве, он, работая цинкографом в одной из типографий, был тайно влюблен в хорошенькую и, по-видимому, неглупую линотипистку. Но она, так и не дождавшись его признаний, вышла замуж за другого.

В Севастополе его чувства вторично подверглись серьезному испытанию. Как-то в веселое майское воскресенье он, уволившись на берег, одиноко сидел на скамейке Приморского бульвара, и случилось так, что около него освободилось место. Его заняла девушка, на которую Аклеев уже не раз бросал быстрые и осторожные взгляды.

Была она спортивного склада, плотная, как колобок, русые волосы, высоко взбитые по самой последней моде Корабельной стороны, были зачесаны за уши. Небольшие, чуть раскосые карие глаза блестели на ее забавном и задорном лице, как свежие арбузные косточки. Аклеев заметил, что она всегда гуляла с книжкой в руке: культурная девушка. Аклееву такие нравились.

— Можно? — спросила она у покрасневшего Аклеева и, очевидно, не сомневаясь в его ответе, развернула книжку и осторожно, чтобы не помять и не запачкать платье, уселась на ней.

Девушка просидела бы до глубокой ночи, не дождавшись ни единого слова от своего оробевшего соседа, но она первая завязала разговор, и через пять минут они уже болтали так, будто были знакомы много лет. Еще он не знал, что зовут ее Галя Сыроварова и что она работает воспитательницей в детском еду, а уже был по уши влюблен в нее.

Часа два Никифор считал себя самым счастливым человеком в Севастополе. А потом, когда Галя, глянув на часы, вдруг заторопилась и объяснила причину своей спешки, Аклеев в какую-нибудь одну секунду стал самым несчастливым человеком: оказалось, что Галя спешила на Графскую пристань встречать своего, как она выразилась, лучшего друга. Он тоже краснофлотец, и такой замечательный, такой замечательный, такой храбрый, веселый. Галя обещала познакомить Аклеева со своей подругой, очень милой шатеночкой, которая ему обязательно понравится, и тогда они все — и Галя со Стивой и Аклеев с этой шатеночкой — будут всегда вместе гулять.

Аклеев, понурив голову, слушал ее щебет, покорно соглашался, что да, конечно, они обязательно будут друзьями и будут вчетвером гулять. А про себя он уже твердо решил, что ни с какой шатеночкой он знакомиться не будет, да и с Галей он не станет встречаться, потому что все это теперь ни к чему и даже унизительно, раз у нее уже есть какой-то чертов Стива.

Не повезет же человеку! Даже имя у его соперника было красивое, как у Облонского в «Анне Карениной», а у него что за имя? Никифор!

Правда, из разговора с Галей тут же выяснилось, что зовут Стиву попросту Степаном, а в Стиву его перекрестила сама Галя. Но дело было, конечно, не в имени.

Неизвестно, хватило ли бы у Аклеева силы воли воздержаться от встреч с Галей. Помогло выдержать характер то, что его корабль вскоре вышел на большие отрядные учения. Но легче от этого не стало. Стоит он, бывало, на вахте около своего ДШК, а кругом раскинулась мягкая южная ночь, звезды над головой мерцают задумчиво и нежно, за кормой, шелестя, стелется пышный фосфоресцирующий бурун, снизу чуть слышно доносится на мостик могучее дыхание машин, и сами собой лезут в голову воспоминания о встречах и мечты о свиданиях, которые еще впереди.

Аклеев раз и навсегда решил не вспоминать о Гале, но относительно Стивы он такого зарока не давал. И вот, стоя на вахте, мечтал он в такие ночи о том, как этот неизвестный Стива вдруг окончательно исчезнет из поля зрения Гали Сыроваровой. Лучше всего было бы, если бы его перевели куда-нибудь подальше. Например, на Тихоокеанский флот...

Кончились, наконец, отрядные учения, эсминец снова отшвартовался у Минной пристани. На другой день Аклеев собирался в город, но утром началась война и вместе с нею прекратились увольнения на берег.

Вот почему в ответ на вопрос Вернивечера, есть ли у него любимая девушка, Аклеев промолвил:

— Нет... А у тебя?

## IV. ВЕРНИВЕЧЕР РЕШАЕТ ПО-СВОЕМУ

Вернивечер, видимо, только и ждал этого вопроса. Его обычно насмешливое лицо стало задумчивым, мечтательным, ввалившиеся землистые щеки порозовели.

— Девушек у меня было много, — сказал Вернивечер, — но любовь — одна, и эта любовь удивительно необыкновенная... Мы познакомились совсем как в кинокартине — на стадионе. Я играл правого бека («Как мой Костя!» — нежно вспомнил Кутовой), а она бегала. Ну, она еще не так хорошо бегала, не во всесоюзном масштабе. Потому что она еще не имела практики. А я как раз играл за сборную флота, и я в тот день такие мячи давал, как в сказке. А в перерыве она ко мне подходит и говорит: «Вы, товарищ Вернивечер, так играли, что вам не стыдно было бы на московском стадионе «Динамо».

Я ей говорю: «Ну, это положим».

А она: «Ничего вы в таком случае в московском футболе не понимаете».

Я ей опять говорю: «Ну, это положим».

А она рассердилась: «Что это вы заладили, как сорока: «положим», «положим»? Что у вас — других слов нету?»

А я ей: «Что вы, — говорю, — товарищ девушка, я и другие слова знаю. Например...- тут я ей, братцы, в самые глаза глянул, да как ляпнул: — например, вы мне очень нравитесь».

И рассмеялся. Совестно стало.

А она как покраснеет и говорит: «Ну, это положим».

А потом спохватилась, что повторяет мои слова, и тоже рассмеялась. А я смотрю на нее и радуюсь, и мне становится необыкновенно весело.

«А откуда, — спрашиваю, — вам моя фамилия известна?»

Она говорит: «Мне девчата сказали. Я вас уже давно приметила».

«А я, — говорю, — всегда тоже наблюдаю, как вы бегаете».

Она говорит: «Ну, это вы сейчас придумали».

Тут я, чтобы она чересчур много про себя не думала, говорю: «Нет, ей-богу, наблюдаю. Но только вы еще не очень хорошо бегаете. Еще вам до рекордов далеко».

Другая бы рассердилась на такие слова, а она без всякой досады мне возражает: «Я не для рекордов бегаю, товарищ Вернивечер, а для здоровья».

«А я что, — говорю, — для болезни играю? Я тоже для здоровья... И для грядущих боев. Только, — говорю, — пока я еще не контр-адмирал, зовите меня Степа».

И пошло, и пошло. И ушел я со стадиона в тот день на всю жизнь влюбленный. Хотите — верьте, хотите — нет.

— Нет, почему же, — сказал Кутовой, — мы верим. — Дело житейское. Любовь.

— Подумать только! — продолжал Вернивечер, как бы размышляя вслух. — Ходишь ты с годками на берег, гуляешь, выпиваешь, холостякуешь, а в то же самое время где-то, может, даже совсем поблизости, ходит твоя судьба, твое самое что ни на есть счастье... Удивительно!

Он забыл о своих ранах, о том, что лимузин несет к берегу, что каждую минуту с берега, с воздуха или с моря может прийти смерть. Вернивечер был во власти воспоминаний.

— И как только увольнение, так вместе и ходим, и больше нам ничего не надо. Потом, уже перед самой войной, вывихнул я себе на тренировке ногу. Положили меня в госпиталь. Лежу, скучаю. Крейсер в море, на отрядных учениях, а ей ничего не сообщаю: испытываю ее любовь. Ну, в первое воскресенье она, конечно, не пришла. На бульваре прождала. А во вторник разузнала и после службы — прямо ко мне в палату. С букетом. Как к роженице какой. «Стива, — говорит, — что с тобой? Почему ты мне не сообщил?» А сама такая необыкновенно бледная, что мне ее жалко стало...

Неясное подозрение шевельнулось в душе Аклеева: Стива, который на самом деле Степан... И тоже краснофлотец... И у него девушка, которая его очень любит... А вдруг это тот самый Стива?!

Он бросил быстрый взгляд на полулежавшего Вернивечера, и его поразило, что вид соперника не вызывал в нем никаких свирепых чувств. Аклеев даже подумал — может быть, он разлюбил, наконец, Галю. Ведь со времени их знакомства и единственной встречи пошел уже второй год. Но, воскресив в памяти милый образ Гали с ее веселыми, чуть раскосыми глазами, он понял, что любит ее по-прежнему, что нет на белом свете девушки, к которой его влекло бы так сильно. Хотя он убедился, что она совсем уже не такая культурная, как казалось.

И все же факт оставался фактом. Он смотрел на Степана с дружеским участием и щемящим чувством виноватости, которое всегда испытывает человек, вышедший из боя невредимым, при виде своего тяжело раненного товарища.

«Это, наверно, потому, что нету с нами на лимузине Гали, — решил Аклеев, любивший все, что его поражало, осмыслить до конца. — А была бы тут рядом Галя, да плакала бы, что ее Стиву ранило, да ласкала бы его, голубила, целовала, так тогда бы я, небось, волком взвыл...»

Набравшись духу, он осторожно осведомился:

— Разве тебя Стивой зовут?... Ты же форменный Степан.

— Это она меня Стивой окрестила, — виновато пояснил Вернивечер, и у Аклеева снова холодок прошел по сердцу. — Ей больше нравилось Стива. А мне что? Лишь бы любила.

— А сама, небось, не иначе как Галя... или Светлана... или Муся? — продолжал Аклеев свои расспросы, стараясь придать своему лицу самое безразличное выражение.

— Как раз Муся! — удивился Вернивечер. — Ты что, угадал или... знаком?

— А чего тут не отгадать? — ответил Аклеев, приставив к глазам ладонь козырьком и с преувеличенным вниманием разглядывая узенькую полоску все еще очень далекого берега. — Всякий отгадает. В Севастополе что ни девушка, то или Галя, или Светлана, или Муся.

Он помолчал и с веселым ехидством добавил:

— А что ни Степан, то обязательно Стива...

Вернивечер посмотрел на него с сомнением:

— Ну, эта твоя теория в корне неправильная. Просто чистая случайность, что ты угадал.

— Пускай будет случайность, — успокоил его Аклеев. — Главное, что она тебя крепко любит. Это уже без сомнения.

— Кабы ты был пророк! — протянул Вернивечер.

— Я не пророк, — ответил Аклеев, — но я понимаю женскую душу.

Вернивечер умолк, поеживаясь от легкого ветерка. Его знобило.

С удовлетворением убедившись, что Вернивечер ничего общего с Галей не имеет, Аклеев перенес свое внимание на давно заинтересовавшую его одинокую точку, которая уже поднялась довольно высоко над горизонтом, успела вырасти в большую свинцового цвета тучу и быстро плыла на юг по пустому голобому небу. Вслед за нею выползала из-за горизонта еще одна туча и еще. Было похоже, что они несут с собой свежий ветер, а может быть, и шторм. Это грозило утлому лимузину, к тому же потерявшему управление, тяжелыми испытаниями. Но ветер, который они с собой несли, погнал бы лимузин на юг, а не к крымскому берегу. Аклеев все же не решался пока поделиться со своими спутниками этой надеждой.

Еле слышный гул мотора заставил его встрепенуться. С берега, очевидно, с Качинского аэродрома, прямым курсом на них летел «мессершмитт». Было бы наивно предполагать, что именно их лимузин является целью вылета фашистского истребителя. Но в те горькие июльские дни таких отчаянных суденышек, уходивших из Севастополя в открытое море, было немало, и все они представляли собой благодатную и почти безопасную цепь для пулеметов и пушек немецких летчиков.

Нечего было и думать о том, чтобы на потерявшем ход лимузине принимать бой с бронированным и богато вооруженным истребителем. Нужно было скрыться в каюте, и как можно быстрее.

Но это оказалось не так просто. Кутовой, бросившийся было туда со своим пулеметом, впопыхах задел локтем тяжело подымавшегося с трапа Степана Вернивечера. Тот охнул, побелел и упал бы, если бы его не подхватил Аклеев. Вернивечера пришлось внести на руках и уложить на сиденье. Потом они вдвоем с Кутовым тащили «максим», неожиданно ставший непосильно тяжелым для одного Аклеева.

Когда Кутовой выполз за своим пулеметом, «мессершмитт» был уже метрах в восьмистах. Он летел низко, почти на бреющем полете. Ноющий вой его мотора неумолимо нарастал, рвал барабанные перепонки, пронизывал тело противной холодной дрожью.

Есть нечто глубоко оскорбительное для человеческого достоинства в пассивном, пусть даже и вынужденном, ожидании приближающейся смертельной опасности. Трусам легче. Им это чувство неведомо. Страх парализует их дряблую волю, их робкий мозг. Еще задолго до того, как пуля или осколок настигнет их, они уже не люди, а пульсирующие трупы.

На настоящих людей, тех, кто любит жизнь и умеет не бояться смерти, это чувство бессилия возмущает, гнетет, выводит из себя.

Может, все-таки выскочим с пулеметами, а? — хрипло произнес Кутовой. — Боезапаса хватит...

— Без бронебойных? — сумрачно отозвался Аклеев. — Лежи, пока живой.

Они лежали рядом, тесно прижавшись друг к другу, еле уместившись в тесном проходе между сиденьями. Кутовой чувствовал, как часто бьется сердце Аклеева.

И вот, спустя несколько секунд, над лимузином с чудовищным, душу выматывающим ревом пронесся немецкий истребитель. Сквозь полусорванную крышу можно было заметить, как промелькнула плоскость самолета с черным крестом, обведенным белыми полосами.

— «Мессершмитт»! — сказал Кутовой, точно это было неизвестно Аклееву. Ему вдруг стало нестерпимо, физически трудно молчать.

Но Аклеев молчал.

Кутовой попробовал отвлечь свое внимание от самолета. Он смотрел на забавную бородку Аклеева, лихорадочно пытаясь снова вызвать у себя в памяти плюшевого медвежонка, которого когда-то, бесконечно давно, будто сто лет назад, покупал Косте ко дню рождения. Но он таки не смог хоть на миг заставить себя забыть о «мессершмитте», о фашистском летчике, который был совсем близко, в полной безопасности, и мог так, между делом, убить его — Василия Кутового, и Аклеева, и Вернивечера. Кутового душила лютая ненависть к немцам и мучительная досада на свою беспомощность.

— Ничего! — яростно шептал он, обращаясь не то к своим товарищам, не то к самому себе. — Ничего! Ще мы побачимось! Ще я из тебэ, бисов эрзац, до Берлина кишки повыпущу!... Ще мы с тобой, гадюка!...

Конец его угрозы потонул в грохоте приближавшейся машины, с сумасшедшим треском затарахтели очереди пулемета. Одна, другая, третья, четвертая. Потом совсем низко промчалась зловещая тень самолета, и в каюте на мгновение наступили сумерки, как во время солнечного затмения, а потом сразу стало по-прежнему светло и совсем тихо.

«Мессершмитту» некогда было возиться с каким-то ничтожным поразбитым катерком, не обнаруживавшим к тому же никаких признаков жизни. «Мессершмитт» улетел в район тридцать пятой батареи, туда, где он мог рассчитывать на более богатую добычу.

— Ух ты! — промолвил минуту спустя Аклеев, поднимаясь с палубы. — Даже вспотел. — Он с удовольствием потянулся: — Ну как, все живы?

— Вроде все, — неуверенно отозвался Кутовой, покосившись на лежавшего лицом к переборке Вернивечера.

— Степан! — окликнул Аклеев.

— Ничего со мной не сделалось, — буркнул тот, не оборачиваясь. — Я бы сейчас соснул...

— Ну, вот и отдыхай, — обрадовался Аклеев. — Это ты правильно решил — отдыхать.

Он тщательно осмотрел лимузин от носа до флагштока на корме и только у самого форштевня обнаружил три свежие пробоины, не представлявшие никакой опасности.

— Нет, — сказал он, подводя итог осмотра. — Этот фриц — не ас.

Кутовой добавил к этой скупой характеристике несколько выразительных словечек. Вернивечер снова промолчал, и Аклеев поняв, что его надо оставить сейчас в покое, вернулся с Кутовым на прежнее место, на корму.

Вернивечер только этого и ждал.

Вернивечеру очень не хотелось умирать. Кипучая натура, легко увлекающийся, жизнерадостный, храбрый и не злой, он всегда был полон всяческих планов и жизнь любил так, как может ее любить молодой человек, только перешагнувший в третий десяток.

Ему еше очень многого хотелось. Ему еще нужно было бить немцев до полной победы жениться на Мусе, пожать руку друзьям; поступить в вуз, написать книгу (да, обязательно книгу!) воспоминаний об обороне Севастополя и обязательно такую, чтобы заткнуть за пояс всех писателей, прогуляться по побежденному Берлину, побывать в Москве и Америке, присутствовать на казни Гитлера, играть правого бека в сборной СССР, изобрести снайперский портативный пулемет с оптическим прицелом, повидаться с матерью и братишкой, оставшимися в Ростове-на-Дону, где он до войны работал шофером.

Вернивечер вспомнил: завязался как-то в их батальоне спор. Один матрос сказал: «Если я останусь без ноги или без руки — застрелюсь. Не будет пистолета, под машину брошусь, подорвусь на гранате, выброшусь из окна госпиталя, с подножки санитарного вагона, утоплюсь, но калекой жить не стану».

Конечно, с ним все заспорили. Вернивечер сказал: «Застрелиться всякий дурак может. Жизнь — это не танцы, хотя и очень приятная вещь. А я останусь без руки, все равно буду хотеть жить. Даже больше, нежели до ранения. Без обеих рук останусь, с обрубленными ногами, без глаз, —все равно буду радоваться, что живой».

Ему тогда закричали: «Ну, это ты, Степа, перегнул! Ты всегда через край перехватываешь. Без рук, без ног, слепому — какая жизнь!»

А он тогда произнес только два слова: «А Николай Островский?»

Нет, Степану Вернивечеру очень не хотелось умирать, и все же он решил умереть, решил окончательно и бесповоротно.

Мысль об этом впервые пришла ему в голову, когда он нечаянно подслушал из каюты разговор Аклеева с Кутовым. Он прекрасно понимал, что значит для истощенных, измученых бойцов высаживаться на берег, занятый противником, вести неравный бой и пробиваться через Бадары к партизанам, которых тоже не сразу разыщешь. Было всего несколько шансов из ста, что это им удастся. Но и этих ничтожных шансов не останется, если Аклеев и Кутовой потащат его на себе. А Вернивечер знал, что они его никогда не бросят. Значит, из-за него они должны будут погибнуть. Благородно, спору нет, но совершенно ни к чему.

Вернивечер был самолюбив, и сознание, что он стал обузой для своих товарищей, помехой в их борьбе за жизнь, мучило его не меньше, чем все усиливающаяся боль в плече.

Когда появился «мессершмитт» и Вернивечера, почти потерявшего сознание от нечайнного толчка, уложили на опостылевшее сидение, ему не давал покоя один вопрос: заметил ли немец движение на лимузине или не заметил? Если заметил, то, конечно, только потому, что Аклеев и Кутовой вместо того, чтобы быстро скрыться с пулеметами в каюту, вынуждены были заниматься им.

Вернивечер решил: если летчик что-либо заметил, он обязательно обстреляет их. И «мессершмитт» действительно обстрелял лимузин. На сей раз обошлось благополучно. Но ведь таких неожиданностей могло еще приключиться сколько угодно!

Ему хотелось на прощанье сказать товарищам что-нибудь очень хорошее, теплое, даже нежное. Сейчас, когда он уже принял решение, они стали для него еще родней и ближе. Но он боялся, как бы неожиданные и непривычные излияния не заставили их насторожиться. Он промолчал, выждал, пока остался в каюте один, и принялся за свои несложные приготовления.

Первым делом он выпотрошил свои карманы. Одной левой рукой это было не так просто, но, сам того не сознавая, Вернивечер был рад всякой проволочке. Постепенно он выложил рядом с собой на диванчик складной нож с потрескавшимся эбонитовым черенком, давно уже пустой самодельный дюралюминиевый портсигар с надписью: «Давай, матрос, закурим!», краснофлотскую книжку, комсомольский билет, выцветшую фотокарточку Муси, два Мусиных письма, полученных вскоре после начала войны; незаменимые во фронтовой жизни трут, огниво и кремень, огрызок чернильного карандаша и довольно толстую пачку денег, скопившихся у него за последние месяцы.

На обороте одного из Мусиных писем Вернивечер корявыми, расползающимися буквами нацарапал: «Не хочу вам мешать. Бейте гадов до окончательной победы. С. Вернивечер».

Он перечитал свою записку, добавил к подписи тире и два слова: «черноморский матрос», снова перечитал, остался недоволен, но больше возиться с этим не захотел. Он положил записку на самом видном месте, скрипя зубами от боли, протиснулся сквозь окно и тяжело шлепнулся в воду.

Сперва Вернивечер почувствовал резкую боль в животе, — он ударился о воду плашмя. Но боль тотчас же прошла, и по его разгоряченному и измученному телу разлилась чудесная, всеуспокаивающая прохлада. Он раскрыл глаза и увидал окружавшую его со всех сторон спокойную и бескрайнюю толщу вод, уходившую под ним в постепенно темневшую зеленую бездну. В ней то и дело мелькали, блестя серебром, шустрые стайки озабоченных рыбешек. В нескольких метрах над его головой медленно, чуть покачиваясь, проплыла продолговатая тень лимузина. Потом лимузин прошел и сверху хлынул ослепительный солнечный свет, от которого Вернивечер невольно зажмурил глаза. Когда он снова раскрыл их, он увидел, что находится почти у самой поверхности воды, и тут только сообразил, что все время инстинктивно задерживал дыхание. Он всем своим существом почувствовал, что не хочет, не может умереть, что отдал бы все за день, за час, за минуту жизни. «Ошибся, ошибся, — лихорадочно думал Вернивечер. — Надо было подождать... пока не прибьет совсем близко к берегу — тогда прыгать... Еще пять-шесть часов жизни... Почти вечность! И ведь стоит только несколько раз махнуть здоровой рукой, и его пробкой выбросит на поверхность, и он сможет крикнуть своим товарищам, и его спасут... Обязательно спасут...» Но как он объяснит? Почему бросился в воду — это они поймут. Но почему выплыл? Почему закричал? — Сдрейфил? Пороху не хватило?...

Мысль о позоре, который ожидал его при возвращении на лимузин, взяла верх над жаждой жизни. Он нырнул поглубже, страшным усилием воли разжал крепко стиснутые губы и с силой втянул в себя воду. Она хлынула через нос и рот тяжелым удушающим солено-горьким потоком.

Уже почти потеряв сознание, он поймал себя на том, что, помимо своего желания, все же выгребает наверх, и заставил себя заложить руку за спину. Где-то высоко над его головой мелькнула большая тень.

«Дельфин», — безразлично подумал Вернивечер и потерял сознание.

За полминуты до этого внимание Аклеева и Кутова, сидевших в полудреме на корме лимузина, привлек всплеск, донесшийся по левому борту. Они лениво глянули в этом направлении, заметили расходившиеся по воде круги, но ничего особенного не заподозрили.

— Ну, це кит, — криво усмехнулся Кутовой, — теперь держись, Никифор, бо он нас сейчас будет глотать... Со всем боезапасом...

В это время лимузин качнуло легким порывом ветра, дверцы каюты распахнулись, и краснофлотцы увидели, что каюта пуста.

— А где же Вернивечер? — ахнул Кутовой.

Он вскочил на ноги, но Аклеев опередил его, ворвался в каюту, увидел сложенные аккуратной кучкой вещи Вернивечера, мгновенно вспомнил его горькие слова «комиссии все ясно» и, так и не заметив прощальной записки, сразу догадался в чем дело.

— Степан утопился!... — крикнул он Кутовому, поспешно сбросил с себя ботинки и брюки и прыгнул в воду.

Очень много смелых и нужных поступков осталось бы несовершенными, если бы предварительно человек тщательно и всесторонне обдумывал шансы благополучного исхода. И не только потому, что на размышления ушло бы много времени: как часто при зрелом и всестороннем обсуждении и взвешивании смелый поступок начнет казаться обреченным на неудачу, невыполнимым! Между тем, сколько замечательных дел было с успехом выполнено именно потому, что люди решались действовать без бухгалтерских подсчетов все «за» и «против», руководствуясь принципом настоящих воинов, настоящих мужчин: нужно, значит выполнимо.

В самом деле, каковы были шансы спасти Вернивечера? Прошло уже больше полминуты, за это время ветер отогнал лимузин на добрый десяток метров в сторону от места падения Вернивечера. Ищи человека в просторном и глубоком Черном море! Но Аклеев не подсчитывал шансов на удачу, он бросился в воду так поспешно, что не успел даже набрать воздуха в легкие. Через несколько секунд ему пришлось вынырнуть, и метрах в пяти от себя на небольшой глубине он заметил большое темное тело. Это был Вернивечер, который инстинктивно выгреб наверх, но тут же заставил себя разжать рот и снова пошел ко дну. Что произошло бы, если бы Аклеев задержался перед прыжком в воду, чтобы набрать воздуха? Ему хватило бы воздуха секунд на сорок, а за это время Вернивечер, показавшийся на мгновение, ушел бы на большую глубину и утонул.

Но эта мысль пришла Аклееву значительно позже, когда они оба были на борту лимузина. А тогда, заметив мелькнувшее на мгновение тело Вернивечера, Аклеев кинулся в этом направлении таким быстрым «кролем», который он не показывал ни разу ни на одном из состязаний по плаванию. Потом он на секунду задержался, чтобы глотнуть воздуха, и стремительно ушел в воду почти по вертикали. Где-то глубоко под собой он увидел, как медленно уходило в зеленую бездну тело обеспамятевшего Степана.

Хорошо, что Степан потерял сознание. Иначе он стал бы сопротивляться, и Аклееву не удалось бы с ним совладеть. Когда он ухватился за тельняшку Вернивечера, они были уже так глубоко под водой, что казалось совершенно немыслимым добраться до поверхности. Метрах в пяти от поверхности у Аклеева стало мутиться сознание, ужасающая вялость охватывала тело, и словно кто-то шептал ему: «Выпусти Вернивечера, выпусти Вернивечера!... Все равно все пропало!... Выпусти Вернивечера, выдохни из себя отравленный, отработанный воздух!... Все равно все пропало... Как приятно сделать глубокий, глубокий вдох и погибнуть... Все равно все пропало...»

Аклеев сдался бы этой темной размагничивающей силе, если бы в это время совсем близко над своей головой не увидел расплывающийся ослепительный блик солнца, от теплых лучей которого его теперь отделяла только тоненькая пленка зеленоватой воды. Аклеев удержался, не выдохнул из себя воздух, не сделал вдоха и остался жив, жив!

Он вынырнул, собрав последние силы, увидел над собой высокий, праздничный ярко-голубой небосвод, и лимузин, покачивающийся на синих, блестящих, будто лаком покрытых волнах, и Василия Кутового, ошалевшего от радости, махавшего руками, что-то кричавшего.

Аклеев не сразу понял, о чем ему кричал Кутовой, — он дышал. Он дышал глубоко и часто, наслаждаясь простой и ни с чем не сравнимой радостью вдыхать вкусный, свежий, чуть соленый воздух и тут же выдыхать его. Воздуха хватит! Воздуха на всю жизнь хватит, черт возьми! Дыши, дыши, сколько хочешь!

И он дышал, дышал и не слушал, что там кричит на лимузине Василий Кутовой.

А Кутовой суматошно кричал:

— А я уж думал, что Степан потоп!... И что ты тоже потоп!... Что вы оба потопли, бисовы ваши души, морячки мои родненькие, душа с вас вон!... Плыви до лимузина, Никифор, подгребай! Тащи его! Тоже взял себе привычку: чуть что, кидается в море, ровно в какой бассейн!...

Обычно немногословный и сдержанный, Кутовой был сейчас болтлив от счастья. Еще несколько секунд тому назад он был весь во власти ужасающего сознания, что остался один-одинешенек на скорлупке, которую несло ветром к берегу, занятому немцами. Кутовой совсем не был трусом. Это не было животной боязнью близкой и неминуемой смерти. Он отлично знал, что и вместе с Аклеевым и Вернивечером он все равно погиб бы после того, как лимузин прибьет к берегу. Это была не трусость, а щемящее ощущение одиночества, потеря того благодатного чувства локтя, которое придает силу и бодрость в самом неравном и безнадежном бою.

— Чего ж ты не плывешь до лимузина? — орал он счастливо Аклееву. — До лимузина ты чего не плывешь, я тебя спрашиваю?...

Наконец слова Кутового дошли до сознания Аклеева. Только сейчас он не без чувства стыда осознал, что совсем забыл о Вернивечере, которого продолжал крепко держать за тельняшку, что Вернивечер захлебнулся, что жизнь его в серьезной опасности и его нужно как можно скорее спасать. Он тяжело поплыл к лимузину, крепко прижав к себе левой рукой голову Вернивечера, с трудом подал его свесившемуся за борт и чуть не упавшему в воду Кутовому, сам с трудом вскарабкался на борт лимузина и немедленно принялся вместе с Кутовым спасать Вернивечера.

Это оказалось значительно труднее, нежели он предполагал.

Потребовалось внести отяжелевшего Вернивечера в каюту, уложить его на сиденье. Но когда уложили, оказалось, что сделали это неправильно. Надо было укладывать не на сиденье, а на палубу, в узком проходе между сиденьями. На сиденье было неудобно. Осторожно опустили Степана на палубу, и снова оказалось что уложили его неправильно. Нельзя было класть его на спину, раз рука и плечо у него были ранены. Вместо того, чтобы вызвать искусственное дыхание, окончательно доконаешь человека. Наконец уложили Вернивечера ничком, и Аклеев, сняв с него мокрую тельняшку с черными кровавыми размоинами, принялся ритмически надавливать на нижнюю часть грудной клетки.

— По способу Шеффера, — объяснил он Кутовому, который на корабле никогда не служил и подаче первой помощи утопающему не обучался.

Аклеев сказал: «По способу Шеффера», а понимать его слова надо было в том смысле, что, дескать, не надо пугаться того, что Вернивечер совсем как мертвый, с остановившимися, бессмысленно раскрытыми глазами, совсем холодный, с зеленовато-синей кожей, что не надо унывать, а надо верить в науку, которая, вот видишь, товарищ Кутовой, изобрела специальный способ Шеффера, чтобы возвращать к жизни утопленников. Значит, главное — не унывать.

Он напряженно припоминал, как его учили действовать по этому способу. Вспомнил все указания и стал их выполнять уверенно и четко. О, это ведь совсем просто! Нужно только ритмически (это Аклеев очень хорошо помнил) надавливать на нижнюю часть грудной клетки пострадавшего, и дело в шляпе. Когда он все это проделывал там, на корабле, когда минуты две, с трудом сдерживаясь, чтоб не рассмеяться, старательно надавливал на нижнюю часть грудной клетки лежавшего ничком здоровенного трюмного машиниста Васильева, который тоже с трудом удерживался от смеха, начальник санчасти, производивший обучение, заявил, что все в порядке и что краснофлотец Аклеев отлично овладел приемами искусственного дыхания. И Аклеев больше года после этого пробыл в твердой уверенности, что искусственно вызвать дыхание — это сущий пустяк, дело двух-трех минут.

И вдруг оказалось, что это совсем не пустяк и, во всяком случае, не удается в несколько минут. Прошло четверть часа, полчаса, спина у Аклеева задеревенела от работы в согнутом положении, а Вернивечер по-прежнему лежал мокрый, холодный, неподвижный, бездыханный.

Несколько раз ловил себя Аклеев на мысли, что Вернивечера уже не спасти. Он встречался глазами с Кутовым и читал в его глазах ту же мысль, и тогда его охватывало холодное бешенство. У Аклеева разболелись руки, стали ныть мышцы, от усталости движения его потеряли ту мягкость, которая требовалась для деликатной работы. Тогда он передал Вернивечеру Кутовому, и тот стал действовать, тщательно копируя движения Аклеева, и тоже успел устать.

И вот, когда и Аклеев и Кутовой уже решили, каждый про себя, что пора прекращать это бесполезное занятие, по спине Вернивечера пробежала еле заметная судорога. Она была настолько незаметна и неожиданна, что и Аклеев и Кутовой, опасаясь разочарования, не обмолвились о ней ни единым словом, даже взглядом не обменялись. Но вслед за ней по спине Вернивечера прокатилась другая судорога, настолько явственная, что не оставалось и капли сомнения. В то же мгновение Вернивечер чуть слышно застонал, и из его рта хлынула струя совершенно чистой воды.

От волнения и радостного торжества у Аклеева сжало горло. Опасаясь, что на его глазах вот-вот покажутся слезы, он отвернулся от Кутового, продолжавшего орудовать над Вернивечером, и с немалым трудом выдавил из себя те же два слова: «Способ Шеффера!» Он сказал: «Способ Шеффера», а понимать это надо было так: «Вот видишь, брат Кутовой, вытащили парня прямо из зубов смерти! Теперь нам уже ничто не страшно. Надо только верить в свои силы и действовать».

Так его Кутовой и понял. Он подмигнул Аклееву, и милые ямочки заиграли на его смугловатом лице. Продолжая «ритмически» надавливать на спину Вернивечера, он сверкнул зубами:

— Ще той воды нету, в которой потонул бы такой морячок!

Затем Кутовой передал Вернивечера в более опытные руки Аклеева и стал быстро раздеваться. Оставшись в одних трусах, он помог Аклееву уложить Вернивечера на сиденье, снял с него мокрую одежду, переодел в свою сухую и, радостно поблескивая веселыми карими глазами, прошептал:

— Стонет! Сто-о-нет! Ще мы с ним, бог даст, в Берлин входить будем!...

## V. ВЕТЕР МЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ

Пока спасали Вернивечера, было не до того, чтобы интересоваться чем —либо другим.

Но Аклеев все время помнил о тучах, надвигавшихся с севера. Когда он убедился, что жизнь Вернивечера вне опасности, он вышел на корму.

Теперь уже вся северная часть неба была покрыта темными тучами. Они надвигались на небесную голубизну сплошной завесой. Погода менялась. Тучи несли с собой шторм, во всяком случае, усиление ветра и изменение его направления. Ветер, по всей видимости, погонит лимузин на юг. Значит, отпадала опасность, что их прибьет к крымским берегам.

Уже это одно обстоятельство само по себе было достаточно важным, чтобы поставить в известность о нем Кутового. Но, кроме того, были другие, не менее важные обстоятельства и настолько существенные, что Аклеев решился оторвать Кутового от все еще не пришедшего в сознание Вернивечера.

Он кликнул его в моторную рубку, указал на штурвал, на котором чернели застывшие капли крови, и спросил:

— Ты в этом разбираешься?

— Так ведь нет горючего, — удивился Кутовой.

— Ты мне отвечай по существу. Умеешь крутить баранку или не умеешь! Если не умеешь, так и говори.

— Баловался на руднике, — ответил Кутовой. — Товарищи давали покрутить так, для интересу. А прав у меня не было. Без прав крутил.

— Тогда сиди здесь и жди моего сигнала. Будешь держать лимузин против волны. Вся задача.

— Так ведь горючего нет, — с надеждой повторил Кутовой.

— Горючего и не будет. Свежий ветер будет. Нас понесет на юг. Понятно это тебе?

— А Степан хотел топиться! — запоздало рассердился Кутовой. — Так бы зря и потоп. Значит, опять на море воюем?

— Опять на море, — усмехнулся Аклеев. — Только ты не шибко радуйся. Ты, верно, еще не знаешь, что такое шторм.

— Морякам шторм — не пугало, — ответил Кутовой, который не хуже Аклеева понимал, что такое шторм, да еще для потерявшего управление лимузина, но не менее ясно представлял себе, что если б их прибило к берегу, то было бы еще горше.

Аклеев снова усмехнулся. Его немножко покоробило, что Кутовой, никогда не плававший на кораблях, именует себя моряком, но он промолчал: все-таки человек воевал в морской пехоте и сейчас держит себя неплохо.

— Ветер может подняться каждую минуту, — промолвил он, усаживая Кутового на сиденье моториста. — Значит, все ясно? Ждать моей команды и потом все время держать носом против волны. Ударит волна в скулу — перевернет. По морскому называется «оверкиль». Тогда капут. Понятно?

— Понятно, — ответил Кутовой.

— Ну, а я пойду парус ладить, — сказал Аклеев, — и заодно займусь Вернивечером. А твое дело штурвал. Ты пока что проверяй, как он там вертится...

Он выбрался из моторной рубки, и почти сразу Кутовой услышал стук топора и скрежет отдираемой фанеры. Работы было не так уж много. Та часть крыши, которую Аклеев предназначал на парус, была уже почти целиком снята, когда ветер погнал лимузин к берегу.

От скрежета отдираемой фанеры Вернивечер окончательно пришел в себя. С большим трудом он раскрыл глаза и увидел Аклеева, неловко, но старательно орудовавшего топором.

Вернивечер хорош помнил, как он выкладывал на сиденье небогатое содержимое своих карманов, как протискивался сквозь окно, чтобы броситься в море, как заставлял себя поскорее захлебнуться, он даже помнил, как к нему стремительно приближалось в воде какое —то большое темное тело, которое он принял за дельфина. И вдруг он, раскрыв глаза, видит себя не на дне морском, а на том же самом сиденье, на котором он лежал, когда Аклеев начал отдирать крышу. А Аклеев по-прежнему стоит на противоположном сиденье и по-прежнему неправильно действует топором.

Неужели все это на самом деле произошло во сне или в бреду?

От этого предположения Вернивечер пришел в отличное состояние духа. Ему захотелось сказать Аклееву что-то очень ласковое и хорошее. Превозмогая боль и чудовищную слабость, он попытался приподняться на локте здоровой руки и увидел свои мокрые брюки из камуфлированной защитной материи и почерневшую от крови тельняшку, вывешенные для просушки на раскрытых дверях каюты. Ботинки его вместе с носками сохли на кормовом трапчике. Все стало ясно Вернивечеру, но он все же дотронулся до своих волос. Волосы были мокрые. Они еще не успели высохнуть.

Тогда Вернивечер в изнеможении откинулся на спи ну. Ему было невыразимо стыдно, и в то же время (он ни за что не хотел сам себе в этом сознаться) его захлестнуло огромное, ни с чем не сравнимое ощущение счастья: остался все-таки жив! И кто-то, рискуя жизнью, спао его! Он заметил мокрые пряди волос, свисавшие на озабоченно наморщенный лоб Аклеева, и понял, кто его вытащил из морской пучины.

Он ощупал себя и определил, что на нем брюки Кутового и, очевидно, его же тельняшка.

Тогда Вернивечера охватило никогда еще не испытанное им чувство нежности к своим верным боевым друзьям, и он во второй раз за этот день, и за все время с тех далеких пор, как вышел из детского возраста, заплакал. На этот раз у него не хватило сил, чтобы отвернуться от Аклеева и скрыть от него свои слезы. Да, кажется, он этого не очень и хотел...

Но Аклеев все же успел вовремя отвернуться, чтобы зря не смущать Вернивечера.

— А ветерок-то вроде меняется, — промолвил он самым безразличным тоном. — Погонит нас, браток, сейчас на зюйд... И так погонит, что только держись...

Отодрав, наконец, свой тяжелый фанерный «парус», Аклеев перетащил его на корму. Потом он стал шарить под сиденьем, рассчитывая найти там что-нибудь, что пригодилось бы на петли. Хорошо бы кусок сыромятной кожи или, на худой конец, дюралюминия. Десятка полтора гвоздей он обнаружил еще утром, когда доставал топор, молоток и ведерко.

Но ни кожи, ни дюраля не оказалось. Да откуда им и быть на рейдовом катерке, отлучавшемся от стенки на самое ничтожное время и только в пределах гавани, защищенной от ветров и обеспеченной всем необходимым?

Тогда Аклеев не без грусти снял с себя поясной ремень, положил на палубу и решительно отрезал от ремня четыре широких полосы.

Конечно, он мог обратиться к Кутовому или Вернивечеру, и те, ни словом не возразив, отдали бы свои ремни, но Аклеев считал себя ни вправе брать у других, пусть даже для общего дела, то, что имеется у него самого. Кому не обидно расставаться с ремнем, черным матросским ремнем с бляхой, на которой символом краснофлотской славы поблескивает якорь? Это почти то же, что расстаться с бескозыркой или бушлатом! Нет, Аклеев не был способен на такое злоупотребление властью.

Минут через пять «парус» одним своим краем был навешен на четырех кожаных петлях на угол кормовой переборки каюты. Лимузин снова стал управляемым.

Зато парус заслонил собою двери, и сообщение между кормой, каютой и моторной рубкой прекратилось.

А так как Кутовой не имел права отрываться от штурвала, то все три члена экипажа на все время надвигавшегося шторма были предоставлены каждый самому себе.

За Кутового Аклеев еще не так беспокоился. Он надеялся на его смекалку, на умелые и умные руки мастерового человека. С Вернивечером было сложнее. Тяжело раненный, потерявший много крови, пробывший много времени без признаков жизни, охваченный изнурительным лихорадочным ознобом, страдающий от жажды, он должен был остаться совершенно один, без товарищеской помощи, в каюте с наполовину снятой крышей, с выбитыми окнами, через которые будет хлестать свирепая и обильная волна. Но делать было нечего.

Держась за деревянный бортовой леер, Аклеев пробрался по узенькой полоске фальшборта до ветрового стекла моторной рубки, рассказал Кутовому о создавшейся обстановке, потом через развороченную крышу заглянул в каюту.

— Держись, Степан, — сказал он Вернивечеру, — покуда шторм, ты останешься один.

— Есть держаться!...- отозвался слабым голосом Вернивечер и даже нашел в себе силы улыбнуться. Он был благодарен своим товарищам не столько даже за спасение, сколько за то, что они ни словом его не упрекнули. Вернивечер имел мужество подумать, как бы он поступил на их месте, и честно признался себе, что не удержался бы от острого и язвительного словечка. Но это ему только казалось. Он поступил бы точно так же,.как и его друзья. Много лет он был самого лучшего мнения о себе, а теперь стал думать о себе хуже, чем он этого заслуживал.

— Счастливо, Степан! — махнул ему Аклеев рукой на прощание и поспешил к себе на корму.

Минут пять он пробыл без дела, потом рванул ветер, крепко прижал парус к задней переборке каюты, замер на мгновение и снова рванул, на. этот раз с еще большей силой. Зловещие фиолетовые тучи охватили сейчас уже почти весь горизонт. Голубое небо и веселая синяя вода убегали.все дальше.и дальше на юг, и вскоре все небо.и все море стали недоброго свинцового цвета. Ветер, завывая, погнал вслед за убегавшей синевой эшелоны волн, начинавших покрываться седыми гривами пены.

Если бы разыгравшаяся в этот день на море непогода была такой, какая нередко случается и летом, а осенью, зимой и ранней весной свирепствует сутками и даже неделями, вздымая гигантские, как бы ртутью налитые тяжелые волны, лимузин погиб бы в первые же несколько минут.

Сила, а вместе с тем и гибельность ветров измеряются на море по двенадцатибалльной системе. Но разве волна в четыре балла менее страшна для малого судна, чем десятибалльный шторм для крейсера или линкора?

Ветер гнал лимузин все дальше от берега с быстротой, которая при других условиях могла только радовать. Но лимузин то и дело зарывался носом в воду, его швыряло то вверх, то вниз, и каждый раз он так жалобно поскрипывал, что не только неопытному мореходу Кутовому, но и Аклееву казалось, что лимузин вот-вот расползется по швам или переломится пополам. Но лимузин не расползался по швам и не переламывался. Неутомимо и даже с какой-то лихостью он нагонял и обгонял одну волну за другой, подскакивая, плюхался вниз на неисчислимых пенистых ухабах, терпеливо и стойко сносил порывистые удары ветра и шел все мористей и мористей. Кутовой и Аклеев вели его без компаса, без карты, без ориентиров, заботясь только о том, как бы не подставить ветру и волне борт, потому что тогда уже ничто не поможет, — тогда «оверкиль» — и конец.

Как бы не подставить борт! Эта задача возникала столько же раз, сколько волн пришлось пересечь лимузину. Кутовой держал прямо по волне вырывавшийся из рук штурвал, а когда, несмотря на все его старания, лимузин все же пытался уйти в сторону, Аклеев ухватывался за правый, свободный край своего тяжелого фанерного паруса, обливаясь потом,отводил его на себя,и лимузин снова шел так, как ему полагалось. Трудность была не столько в сложности и рискованности маневра, сколько в ужасающей монотонности работы, которую приходилось проделывать и на штурвале и с парусом. Десятки, сотни, тысячи волн! И за ними катились десятки, сотни и тысячи других волн, и казалось, что нет и никогда не будет им ни конца, ни краю. А ведь каждая из них могла погубить это утлое и израненное деревянное суденышко.

Кончился без заката безрадостный и трудный день, быстро надвинулась ночь, а волны все вырастали одна за другой, швыряли лимузин, шлепались о его многострадальные борта, шипели и оставались позади, поблескивая своими фосфоросцирующими пенистыми гребнями.

Вдруг застучал по палубе и крыше лимузина теплый дождь. Бушлат, фланелька, тельник и брюки Аклеева промокли до последней нитки. Дождь перестал так же неожиданно, как и начался.

В сплошном покрове быстро мчавшихся туч стали появляться окна темно-синего неба, в которых мелькали одинокие звезды. Окон становилось все больше и больше, постепенно очистилась от туч северная часть небосвода, порывы ветра становились реже и слабее. Часам к пяти утра ветер настолько затих, что из смертельной угрозы превратился в источник легкой прохлады и не опасной для лимузина, двигательной силы.

Прошло еще часа два, и совсем не стало ветра. Снова безраздельно владычествовало в безупречно чистом небе нежаркое еще утреннее солнце. Снова искрилось под его лучами просторное и бескрайнее синее море, все в легких и мирных, угасающих волнах.

Аклеев отвел в сторону свой фанерный, честно послуживший парус и по щиколотку в воде прошел мимо спавшего на сиденье Вернивечера в моторную рубку.

Кутовой, не доверяя своим морским познаниям, не решался без приказания Аклеева оставлять штурвал. Он сидел, откинувшись назад, бесконечно усталый от непрерывной и непривычной борьбы с разбушевавшимся морем. Его смугловатое лицо осунулось, глаза ввалились. Завидев Аклеева, он устало улыбнулся:

— Живой, значит?

— Мокрый, но живой! — весело отозвался Аклеев. — А ты, браток, ну, ей же богу, молодец! Как по пятому году службы. Честное пионерское!...

И так как, произнося эти слова, Аклеев окинул взором тесное помещение рубки, то Кутовой почему-то понял их не как одобрение его работы во время минувшего шторма, а как высокую оценку специально-морских качеств его организма.

— А ты думал что? — удовлетворенно промолвил он, и на его щеках снова заиграли хитрые ямочки. — Ты думал, если я на кораблях не плавал, так я травить буду? А я вот нарочно решил: сдохну, а не буду травить!...

Кутовой был так простодушно горд небогатым своим достижением, что Аклеев не стал его разубеждать.

— Из тебя рулевой получится первостатейный, — сказал он. — В тебе, верно, душа морская.

Большей похвалы нельзя было получить от Аклеева, и Кутовой вполне оценил значение его слов.

В это время из каюты донесся легкий стон, и Степан Вернивечер внятно произнес одно — единственное слово:

— Пить!...

Как ни трудно пришлось во время шторма Аклееву и Кутовому, им все же было легче, чем Вернивечеру. И не.только потому, что он был ранен и страшно ослабел от потери крови, — очень трудно деятельному, живому человеку быть в такой грозной обстановке без работы. Что ему оставалось делать? Он лежал и думал. Он многое передумал за это время.

Вернивечер всегда был убежден: все его поступки самые правильные. И вдруг он понял, что ошибался. Он со стыдом вспомнил, как там, на холме, предлагал кидаться без оружия на рожон, на верную смерть: как отказывался пойти разведать берег; как без приказа Аклеева повел лимузин навстречу торпедному катеру. Хорошо еще, что не погибли. Могли погибнуть. Может быть, если бы оставались на месте, не был бы пробит бензобак.

Вынеся себе мысленно приговор куда более суровый, чем могли бы вынести ему самые строгие судьи, Вернивечер, чтобы отвлечься от грустных мыслей, стал мечтать о том, как он будет входить в Берлин. Под гром оркестров и пушечных салютов вступают наши войска: пехота, артиллерия, танки, кавалерия, саперы. В воздухе тысячи наших самолетов. И где-нибудь, на самом почет ном месте, шагает сборная бригада морской пехоты. В черных бушлатах, в бескозырках, с развевающимися ленточками, с пулеметными лентами через плечо. Они идут, печатая шаг, с суровыми лицами, не глядя на берлинских обывателей. А перепуганные берлинцы толпятся на троуарах и смотрят на советских моряков. Вот они и пришли к ним в самый Берлин, «черные комиссары», «черная туча» — герои обороны Севастополя и Одессы.

А рядом с ним, с Вернивечером, в одной шеренге шагают Никифор Аклеев и Василий Кутовой. Вместе они отступали, вместе будут и наступать до окончательной победы.

Потом Вернивечер думал о Мусе, о том, как они еще во время войны обязательно где-нибудь встретятся, а после войны поженятся, и как к ним будут приходить в гости Аклеев и Кутовой. Кутовой с женой и сыном, а Никифор, пока он не женится, — один. Боевая их дружба не должна прекращаться до самой смерти.

Вернивечер отдавал себе отчет в том, что ранение задержит его на месяц, а то и больше, в госпитале. Ну что ж, он займется в госпитале изобретением снайперского пулемета. Разыщет в госпитале какого-нибудь раненого инженера и с ним вместе и изобретет...

А лимузин в это время, зарываясь носом во вспененную воду, шел на юг, подскакивая на волнах. Вернивечера томила жажда, удесятеренная большой потерей крови. Он был очень слаб, его знобило. Здоровой рукой он цеплялся за обшивку, чтобы качка не швырнула его на палубу, уставал, засыпал на короткое время и снова просыпался. Несколько раз его, спящего, сбрасывало на палубу. Тогда он просыпался от невыносимой боли в раненой руке, с трудом вскарабкивался на сиденье и снова как бы проваливался в какую-то черную бездонную яму. Это нельзя было назвать сном. Скорее это было беспамятство.

В беспамятстве у него и вырвалось из уст слово «пить», которое он ни за что не позволил бы себе произнести, находись он в сознании. Вернивечер знал, что пресной воды достать нельзя.

## VI. КОРАБЛЬ НАХОДИТСЯ В ПЛАВАНИИ

Воду все-таки достали.

Было почти безумием оставлять парус во время шторма. Но еще большим безумием было не попытаться набрать воды, когда пошел дождь. А ведерко валялось в каюте. Вход в нее наглухо заслонял парус. Отводить парус от двери? Обеспечен верный оверкиль. Аклеев бросился на фальшборт, по узенькому его ребру, крепко цепляясь за бортовой леер, добрался до первого разбитого окошка каюты, протиснулся в него и, схватив громыхавшее ведро, которое килевая качка швыряла из угла в угол, полез было обратно в окно. Но тут он вспомнил о Кутовом и вернулся в каюту. Хватаясь за переборки, он упал на дверь моторной рубки, приоткрыл ее и крикнул:

— Высунь бушлат наружу!

— Так промокнет же! — не догадался, в чем дело, Кутовой. — Дождь идет.

— Вот именно промокнет, сухопутная твоя душа! — рассердился Аклеев. — Промокнет, и будет чего пить!...

Сказал, не дожидаясь ответа, полез в окно и выскочил на корму как раз тогда, когда ветер точно нехотя стал отводить парус от кормовой переборки, потому что Кутовой, скинув с себя бушлат, высунул его за боковую раму ветрового стекла, и на штурвале осталась только одна его рука.

Не выпуская ведерка, Аклеев всей тяжестью своего тела налег на парус и дождался, пока Кутовой снова выровнял ход лимузина.

Теперь Аклеев проклинал себя за то, что не догадался захватить из каюты топорик и пару гвоздей. Тогда можно было бы вколотить гвоздь в переборку, навесить на него ведерко, и вода стекала бы в ведерко с остатков крыши. Но нечего было и думать о том, чтобы возвращаться в каюту.

Пришлось Аклееву, чуть не плача от досады, встать одной ногой на скользкую корму, другой — на ребро фальшборта и, рискуя каждую секунду свалиться за борт, держать ведерко у края крыши в вытянутой руке.

Свистел ветер, волны гремели и шипели неугомонно и сердито. Все кругом было полно недобрыми шумами шторма. Но Аклеев не слышал ничего, кроме тоненького пения струек воды — пресной воды! — стекавших с крыши в ведерко. Был бы на крыше желоб, дождя этого вполне хватило б, чтобы заполнить ведерко до краев. Но на крыше лимузина желобов не полагается, и вода скатывалась с нее сплошной реденькой пеленой. В этом была чудовищная и никак не поправимая несправедливость. Три человека умирали от жажды, а пресная вода, чудесная питьевая вода десятками, сотнями литров падала на крышу, чтобы через несколько секунд скатиться с нее в море.

Немногим больше бутылки воды попало в ведерко. Аклеев осторожно перелил ее в фляжку, не выпив ни капли. Эта вода предназначалась для Вернивечера.

Себе Аклеев позволил только немного пососать мокрый рукав своего бушлата. Это было счастье, которое по-настоящему может оценить только человек, промучившийся без воды хотя бы двое суток.

Очень нелегко было Аклееву заставить себя оторваться от рукава. Но Аклеев превозмог себя.

Как только ветер ослабел и стало возможно без особого риска для лимузина оставлять на минуту-другую коварный парус, Аклеев снял с себя одежду и выжал ее над ведерком. Получилось воды больше, нежели ему удалось собрать с крыши: около полутора бутылок. Вместе с той, которую он потом добыл из бушлата Кутового, собралось около двух бутылок мутноватой, но вполне пригодной питьевой воды.

Теперь можно было дать напиться Вернивечеру и самим хлебнуть примерно по осьмушке стакана: неизвестно было, сколько еще придется пробыть в море, и воду решили экономить жесточайшим образом. Затем и ведерко и фляжку запрятали подальше в рундучок под сиденьем, чтобы они одна капля драгоценной влаги не испарилась под жаркими лучами июльского солнца.

Пить все равно хотелось не меньше прежнего. Аклеев по этому случаю вспомнил директора типографии, в которой он работал на «гражданке». Директор страдал пороком сердца и жаловался, что врачи запрещают ему употреблять в сутки больше пяти стаканов жидкостей. Пять стаканов!...

К вечеру волны улеглись. Лимузин застыл на месте. Во все стороны, насколько хватал глаз, расстилалось море без конца и края. Весело и беззаботно плескались дельфины. Возможно, это были те самые дельфины, которых бомбы и снаряды заставили уйти как можно дальше в море, и вот они сейчас радовались вновь обретенному покою. А возможно, что эти дельфины ни разу и не бывали у черноморских берегов, что они все время боев находились здесь, в глубоком дельфиньем тылу. Но ясно было одно: они чувствовали себя здесь в полнейшей безопасности и это было неопровержимым свидетельством того, что лимузин занесло достаточно далеко от морских и воздушных путей. Теперь краснофлотцам можно было надеяться только на ветер или на счастливый случай.

Что касается ветра, то шансов на то, чтобы он после шторма снова задул в ближайшие дни, было очень мало. Еще меньше было оснований рассчитывать на случайную встречу в этих отдаленных местах с каким-нибудь нашим кораблем. Словом, было от чего впасть в отчаяние даже менее усталым и измученным людям, нежели тем, которые составляли экипаж крохотного дырявого суденышка.

Теперь, в долгие часы вынужденного бездействия, с удесятеренной силой стали давать себя чувствовать голод и усталость, и особенно жажда, которую нищенские рационы воды, казалось, даже усиливали. Необоримая вялость расслабляла мышцы и волю, клонила ко сну и бездействию. Стоило только поддаться ей — и исчезла последняя надежда на спасение. С нею нужно было бороться немздлено и самыми решительными мерами.

Бывает у людей такое состояние, когда их охватывает безразличие и равнодушие ко всему, что еще совсем недавно волновало их, ко всему, что они любили, что было им дорого. Ни воспоминания о родном доме, ни о любимых не в состоянии в таких случаях вывести из оцепенения. Но и в такие тяжелые минуты человек стряхивает с себя апатию, вспомнив о воинском долге. Пока человек чувствует себя солдатом, он находит силы для деятельности и борьбы.

Солнце уже касалось нижним своим краем горизонта, когда к безмолвно лежавшему Вернивечеру подошел Аклеев.

— Пить хочешь? — шепотом осведомился он. Конечно, Вернивечеру совершенно нестерпимо хотелось пить, но вместо прямого ответа он прошептал:

— А вы сами?... Почему вы сами с Кутовым не пьете?...

— Ас чего ты взял, что мы не пьем? Мы уже пили.

Аклеев дал ему хлебнуть воды и снова зашептал:

— Ты как, в случае чего — сесть можешь?

— Смогу... если потребуется, — ответил несколько удивленный Вернивечер.

— Тогда надевай бескозырку, потому что сейчас будет спуск флага, — сказал Аклеев и испытывающе глянул на Вернивечера.

Вернивечер отнесся к его словам с подобающей серьезностью, и обрадованный Аклеев поспешил на корму. Вскоре оттуда донесся его осипший голос:

— На флаг смирно!

Вернивечер, скрипя зубами, приподнялся, сел и застал, повернув голову в ту сторону, где сквозь раскрытые двери каюты виднелся, на оранжевой стене заката простенький флаг, белый с голубой полосой, а красной звездочкой и серпом и молотом.

Вытянулись на корме по команде «смирно» Аклеев и Кутовой.

В эту минуту на всех кораблях Черноморского флота, на линкоре и на катерах, на подлодках и мотоботах, на крейсерах и тральщиках, на эсминцах и сторожевиках происходила торжественная церемония спуска флага. В теплых кавказских сумерках звенели голоса вахтенных командиров, краснофлотцы, старшины и командиры замирали на том месте, где их заставала команда. Горнисты стояли на юте, готовые заиграть, лишь только прозвучат слова: «Флаг, гюйс спустить!» Горнисты будут играть, пока флаги и гюйсы, колыхаясь под легким вечерним бризом, будут медленно скользить вниз по фалам. Они снова будут подняты утром следующего дня. Есть в этой ежедневно повторяемой церемонии, старой, как флот, что-то всегда волнующее, бодрящее, гордое, наполняющее сердце военного моряка чудесным ощущением величия и силы грозного и нерушимого морского братства, умного и сложного единства флота.

Здесь, на крохотном и изувеченном лимузине, затерянном в пустынных просторах Черного моря, люди в эту минуту с особенной остротой почувствовали, что и они со своим катерком являются частицей Военно-Морского Флота.

Так прошло несколько мгновений, а потом Аклеев скомандовал: «Флаг спустить!» и приложил руку к своей лихо надетой набекрень бескозырке. Приложили ладони к своим бескозыркам и Кутовой и Вернивечер. Это было против уставных правил: краснофлотцы при спуске и подъеме флага руку к бескозырке не прикладывают. Но Аклеев был на положении командира корабля, Кутовой попросту не знал этих уставных правил, а Вернивечер хотя и знал, но он сидел, а не стоял, как полагалось по уставу, и ему хотелось чем-то восполнить это невольное упущение.

Аклеев молча повел глазами на флаг, Кутовой смущенно заторопился, опустил руку и вытащил флагшток из его гнезда.

— Вольно! — скомандовал Аклеев, и Вернивечер, у которого от слабости сильно кружилась голова, снова вытянулся на сиденье.

Закончился третий день похода.

Со следующего утра Аклеев с Кутовым стали попеременно нести боевую вахту.

«Максим» был вытащен на корму. Его зарядили, и вахтенный должен был непрестанно следить за воздухом и водой. Как только в пределах видимости появится советский корабль или самолет, вахтенному надлежало выпустить одну очередь за другой, пока он не убедится, что его сигналы замечены.

Что и говорить, надежды на появление помощи были очень и очень слабые. Но надежды на ветер было еще меньше. А главное, — и это Аклеев, да и Кутовой отлично понимали, — на вахте человек чувствует себя занятым нужной, предусмотренной уставом работой, и это придает бодрость.

Вахта сменялась другой, а корабли и самолеты не появлялись. Даже вражеские. В такую загнало лимузин морскую глухомань. Но корабль находился в плавании, военный корабль, и вахтенную службу на нем, насколько это было возможно, несли с той же тщательностью, как и на линкоре. Утром подъем флага, вечером Кутовой по команде Аклеева спускал флаг.

Первые два раза Вернивечер еще находил в себе силы, чтобы приподняться и усесться во время этих торжественных церемоний, потом силы окончательно покинули его. Теперь он все время лежал, все чаще и чаще впадая в забытье. Его томила жажда (полстакана воды, которые он получал в день, конечно, не могли ее утолить), мучили голод и воспаленные раны, трепал сильнейший озноб. Он был покрыт своим бушлатом и бушлатами обоих своих друзей, и все же его лихорадило, и он стучал зубами, как на сорокаградусном морозе. А товарищи его упорно несли вахту.

Пока один стоял на вахте, другой спал, чтобы зря не терять силы. Потом решили нести вахту сидя.

Потянулись бесконечно долгие часы, не заполненные ничем, кроме вахты. Голод и жажда не давали себя забывать ни на минуту. Аклеев как-то вспомнил, что в приключенческих романах пострадавшие от кораблекрушения питались мелко нарезанной кожей. Тайком, когда Кутовой заснул, он попробовал кусочек своего ремня, долго жевал солоноватую твердую кожу, даже заставил себя проглотить ее, но желудок не принял этого эрзаца и вернул его обратно. В приключенческих романах, очевидно, знали какой-то секрет, неизвестный Аклееву.

В другой раз осмелевшие дельфины стали играть так близко от лимузина, что Аклеев не выдержал и выпустил по одному из них длинную очередь. Несколько пуль попали в дельфина, фонтанчики крови брызнули из него, но сам он камнем пошел ко дну.

От выстрелов проснулся Кутовой, даже Вернивечер сделал попытку приподнять голову.

— Корабль? — воскликнул с надеждой Кутовой. — Неужто корабль?...

— На дельфина охотился, — смущенно отозвался Аклеев, — и такое разочарование прочел он при этих словах на лицах своих товарищей, что подумал даже, не зря ли он занялся охотой.

— Ушел? — вяло спросил Кутовой.

— Ушел, — ответил Аклеев.

— Ему, верно, в голову надо стрелять, — угрюмо высказал свои соображения Кутовой. — Ты ему в голову стрелял?

— Старался в голову.

— Тогда правильно... Только как его потом вытаскивать, убитого?...

— Сперва убить надо, — неуверенно сказал Аклеев. — а потом уже вытаскивать...

— Мда-а-а, протянул Кутовой. — Конечно... Был бы хоть багор... Вплавь у нас с тобой теперь не получится...

Но весь этот вялый разговор оказался ни к чему. Дельфины, напуганные пулеметной стрельбой, перестали появляться вблизи лимузина.

Единственное, что Аклеев мог реально предпринять по продовольственной части, это запретить Кутовому заводить разговоры на эту тему. Вернивечер и без того все время молчал. Но запретить думать о пище и воде было не во власти Аклеева, и видеть их во сне тоже нельзя было запретить.

Казалось, уже на все темы было переговорено: и о недавних и в то же время таких далеких годах «гражданки»; и о том, какие у Аклеева на «Быстром» были дружки; и как он под Мекензиевыми горами двадцать часов отбивался от полутора десятков фрицев. Кутовой вспоминал, как он на шахте ставил первые свои рекорды, как во флотском экипаже скандалил с писарем мобчасти, чтоб его не мариновали впрок, а поскорее отправляли на фронт, а его все не отправляли, потому что кто-то решил, что лучше его послать бурить скалы и строить какое-то убежище. Потом выяснилось, что под Сапун-горой их батальоны дрались рядом. Тогда они стали вспоминать своих командиров и оказалось, что большинство их погибло. Аклеев вспомнил, как в их батальоне за один день сменилось четыре комиссара: они шли впереди своих наступающих бойцов и погибали еще до того, как штаб успевал оформить их назначение.

С каждым часом все ощутительней и беспощадней становились голод и жажда. Не хотелось двигаться, думать о чем-либо, кроме еды и питья. Все реже стали завязыватсья разговоры, и становились они с каждым разом все короче, отрывистей и бессвязней. Даже если речь шла о семье, о близких. Только одна тема продолжала еще их волновать.

Этой темой была грядущая победа. Июль сорок второго года! Четыре с половиной долгих и горячих месяца отделяли эти горькие и трудные дни от блистательного исхода Сталинградской битвы, которая тогда еще не начиналась.

Как-то вечером (это был четвертый вечер на лимузине) Кутовой, задумчиво глядя на величественную панораму озаренных закатом облаков, промолвил:

— Тоска на этот закат смотреть. Вроде Севастополь горит...

Аклеев не сразу отозвался:

— А ты хорошенько присмотрись, и ты увидишь, что это горит немецкий город.

— Эх, — воскликнул тогда Кутовой, — один бы только часок пострелять в Германии, а потом и помирать можно!...

— Только тогда и жить-то можно будет по-настоящему начинать, — сказал в ответ Аклеев, и оба друга замолчали, углубившись в свои думы.

Быстро догорел закат, темно-синяя ночь опустилась на море, и Кутовой прервал долгое молчание, поведав Аклееву мысль, которая им владела, видно, не первый день.

Жалко, — осторожно начал он, — никто ие узнает, что мы потопили тот торпедный катер...

— Сами доложим, — усмехнулся Аклеев.

— Это если мы доберемся до своих. А если не выйдет у нас ничего? — Кутовой не хотел произносить слова «если мы погибнем».

Не надо думать, что Кутовой мечтал о пышной, всенародной славе. Ему просто было обидно, что его Костя так и не узнает об этом славном деле.

— Не мы первые, не мы последние, — ответил Кутовому Аклеев. — Важно, что мы его потопили.

Он помолчал и добавил:

— Помнишь, у Приморского бульвара стоит в воде памятник?

— Погибшим кораблям?

— Вот именно, погибшим кораблям. А ты названия этих кораблей помнишь?

— Не помню, — ответил Кутовой и тут честно поправился, — и даже никогда не знал...

— И я не помню, — в свою очередь сознался Аклеев. — А каждый раз, бывало, как гляну на этот памятник, так даже сердце замирает от волнения. И вот я думаю, кончится война и поставят в Севастополе другой памятник, и на нем будет золотыми буквами написано: «Погибшим черноморцам». И если нам с тобой и Вернивечером судьба погибнуть, так будет, я думаю, в этом памятнике и наша слава. И когда будет уничтожен последний фашист, то в этом опять-таки будет и наша слава. А другой мне не надо. Я не гордый.

— Ну, и я не гордый, — примирительно сказал Кутовой.

— А все-таки здорово мы этот катер угробили! —донесся из каюты слабый голос Вернивечера. — Аж теперь приятно вспомнить.

Он слышал весь разговор Аклеева с Кутовым, хотел было поначалу сказать, что и он не гордый, но не сказал, потому что не хотел врать. Слова Аклеева его только частично утешили, но не переубедили. Вернивечер страстно мечтал, чтобы о бое с торпедным катером узнал один человек, в котором он был очень заинтересован. Этим человеком была Муся.

Истощенных краснофлотцев покидали последние силы.

Кутовой по этому поводу даже попытался сострить. Он сказал:

— Раньше мы вахту стояли, теперь мы вахту сидим, а завтра, верно, лежать ее будем.

— А что? — отозвался Аклеев. — В крайнем случае можно и лежа. Главное, чтобы внимательно.

— Ну, пока мы еще вполне можем сидеть, — добавил Кутовой, бодрясь, но Аклеев его уже не слышал. Он спал.

Этот краткий и не очень обнадеживающий разговор произошел часов в семь вечера. А в девятом часу Кутовой услышал отдаленный грохот орудий и еле различимый стрекот пулеметов.

Сначала Кутовой решил, что это ему мерещится. За последние несколько суток ему уже не раз чудились выстрелы, звуки сирены, даже отдаленный звон рынды, которой отбивают склянки. И каждый раз он убеждался, что это только плод его воображения.

Но грохот становился все громче и ближе, и когда, наконец, Кутовой убедился, что слух его не обманывает и что нужно поскорее будить Аклеева, тот сам проснулся.

— Стреляют! — взволнованно прошептал он. — Слышишь?

— Ага, — ответил, дрожа всем телом, Кутовой. — Сражение...

Они впились глазами в западную часть горизонта, откуда долетал нарастающий гул боя. Гром орудий и треск частых пулеметных очередей перемежались редким уханьем тяжелых разрывов.

— Бомбы! — объяснял каждый раз Аклеев. — Наш корабль бомбят.

— Неужели потопят? — сказал Кутовой.

— Не должны. Не потопят!... Опять бомба!...

Минут через двадцать стрельба прекратилась, и на огненной стене заката, почти над самой полоской горизонта, показались и сразу растаяли, скрывшись в северном направлении, три еле заметные точки.

— Улетели гады! — сказал Аклеев.

— Неужто потопили? — взволнованно спросил Кутовой.

— Был бы взрыв... — сказал Аклеев.

Но взрыва они не слышали. Они продолжали смотреть в ту сторону, где только что закончился бой, и на охваченном закатным заревом небосклоне вскоре заметили черный, точно залитый тушью, точеный силуэт военного корабля.

— Тральщик! — возбужденно воскликнул Аклеев. — Ей богу, тральщик! БТЩ!...

Он плюхнулся на палубу и стал бить вверх из своего «максима». Кутовой присоединился к ному со своим ручным пулеметом. В четыре приема кончилась лента «максима», несколько раз сменил диск Кутовой, палубу завалило стреляными гильзами. Не могло быть, чтобы в наступившей после недавнего боя вечерней тишине на корабле не услышали эту яростную пулеметную стрельбу. И все же, сколько ни прислушивались потом наши друзья, они не услышали ничего, что могло быть похожим на ответные выстрелы, на какой бы то ни было признак того, что на тральщике обратили внимание на их сигналы.

И Аклеев и Кутовой понимали, что этот тральщик — их последний шанс на спасение, что и он-то появился здесь случайно, и нечего ожидать, чтобы в этом отдаленном секторе моря в ближайщие дни появился другой корабль. А если даже, паче чаяния, и появится, то все равно будет уже поздно — они чувствовали, что силы у них на исходе и вряд ли они смогут еще долго нести вахту, даже лежа. Оба понимали, что это конец, но ни тот, ни другой не хотели и не могли высказать это вслух.

Догорел закат, черным пологом закрыла его сухая ночная мгла, и в ней потонул, словно растворился, силуэт тральщика.

Стрельба вывела из забытья давно уже лежавшего пластом Вернивечера. Он не мог не понять, что означает лихорадочная стрельба, поднятая его друзьями, ему хотелось узнать, но не очень, что послужило поводом к ней. Сам он уже не имел сил подняться с сиденья, выйти на корму и выяснить обстановку, а расспрашивать не стал. Если будет что-нибудь хорошее, ему сообщат. А плохого и без того хватало.

Он услышал, как в каюту прошел Аклеев, приблизился к нему, постоял в нерешительности несколько мгновений и вернулся обратно на корму. Вернивечер сделал вид, что спит, даже легонько захрапел, и он услышал, как Аклеев с видимым облегчением сообщил Кутовому:

— Спит.

— Ну что ж, — промолвил Аклеев после наступившего затем долгого и тягостного молчания. — Надо приниматься за ленту. А ты заряжай диски...

«Силен!» — подумал о нем Кутовой, а вслух ответил:

— Сейчас зарядим. Это нам дело привычное.

— Вахту заступаю я, — сказал Аклеев, когда Кутовой набил свои диски.

Кутовой заснул не сразу, и Аклеев не будил его до самого рассвета.

Флаг остался неспущенным. Все-таки сказалось волнение, охватившее Аклеева и Кутового.

## VII. КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ СУХОВЕЙ ИГРАЕТ «ЗАХОЖДЕНИЕ»

Быстроходный тральщик «Параван» возвращался с выполнения боевого задания. Было уже далеко за полдень, когда высоко над «Параваном» еле слышно прогудел одинокий немецкий самолет. На корабле приготовились к отражению воздушной атаки, но самолет и не думал нападать. Покружившись минут десять для того, очевидно, чтобы выяснить курс, которым идет тральщик, самолет, так ничего и не предприняв, улетел на север. Это был разведчик. Примерно через час надо было ожидать бомбардировщиков.

Командир корабля, капитан-лейтенант Суховей, принял решение: уйти мористей, значительно западней того курса, которым он до этого следовал. Правая машина вышла у него из строя еще накануне, когда он выдержал двухчасовой бой с пятнадцатью пикировщиками. Немцы ушли тогда, израсходовав весь боезапас и оставив в синих черноморских водах два своих самолета.

С одной левой машиной капитан-лейтенант Суховей не хотел вступать в новый бой, и он поэтому приказал изменить курс вправо. Но немцы, предусмотрев возможность такого решения советского командира, выслали вдогонку два звена пикировщиков. Одно из них должно было искать тральщик восточнее курса, которым он шел в момент обнаружения, второе — западней.

Ровно через час одиннадцать минут после того, как скрылся разведчик, загремели пушки и пулеметы «Паравана» и засвистела первая фашистская бомба.

На этот раз немцы торопились: пока они разыскали тральщик, наступило уже время заката. Встреченные огнем всех пушек и пулеметов «Паравана», они благоразумно решили не особенно задерживаться, не очень низко пикируя, сбросили в несколько приемов свои бомбы, раза по три каждый из них обстрелял напоследок корабль из пушек и пулеметов, и улетели.

Одна из бомб вывела на тральщике из строя электрическое рулевое управление. Румпельное отделение с перебитым штурвалом затопило еще накануне. Можно, конечно, на худой конец, обойтись на время и без руля, управляясь машинами, но и правая машина была серьезно повреждена и бездействовала.

Все силы были брошены на введение в строй рулевого управления. В нормальных условиях этой работы хватило бы не на один день, но здесь, в открытом море, командир пятой боевой части обещал управиться с ремонтом до рассвета, за несколько часов короткой июльской ночи.

Нет поэтому ничего удивительного, что, когда с мостика доложили, что издалека доносятся длинные пулеметные очереди, командир «Паравана», у которого по горло хватало хлопот, не обратил на это сообщение должного внимания. Он, правда, выбрался на минутку наверх, прислушался, даже попытался вглядеться в густую ночную темноту, окутавшую тральщик, но ничего не услышал и ничего не заметил. Ночь была безмолвна, как может только быть безмолвна далекая морская глухомань, да еще в штилевую погоду.

— Верно, немцы напоследок баловались, — высказал свое предположение Суховей и снова спустился туда, где бойцы и командиры пятой боевой части решали судьбу корабля.

Мысль о том, что стрелять могли с нашего судна, пришла командиру «Паравана» в голову значительно позже, когда благоприятный ход ремонта позволил Суховею заняться и другими вопросами. Он глянул на светящийся циферблат своих часов, с огорчением убедился, что до рассвета осталось не так уж много времени, посетовал на короткие летние ночи и распорядился усилить наблюдение, как только начнет светать.

В нескольких милях от командира «Паравана» командир другого судна, краснофлотец Никифор Аклеев, наоборот, с нетерпением ждал конца затянувшейся, по его мнению, темноты. Трудно описать, что он передумал за эту бессонную ночь. Но одна мысль ни на секунду не оставляла его: не упустить тральщик, если только, конечно, он не ушел, что было наиболее вероятно.

Но какая-то, хоть и весьма незначительная, теплилась у него надежда, что на корабле услышали сигналы лимузина, но отложили поиски до утра. В самом деле, не искать же в потемках.

Наступил рассвет. Теперь уже не тральщик, а лимузин оказался на фоне освещенной части небосклона, и в дальномер его обнаружили задолго до того, как солнечные лучи позолотили стремительные и изящные обводы корабля.

— Слева по носу, пеленг сто тридцать пять градусов, рейдовый лимузин! — удивленно доложил дальномерщик уже давно находившемуся на мостике командиру «Паравана».

— Лимузин?! — поразился в свою очередь капитан-лейтенант Суховей. — Что-то очень далеко он забрался для лимузина! Проверить!

— Нет, верно, лимузин, товарищ капитан-лейтенант! — снова заявил, все больше удивляясь, дальномерщик и оторвался на секунду от дальномера. — И на нем наш флаг, и два человека на корме!... Верно, они вчера и стреляли...

Суховей перевел рукоятку машинного телеграфа на «самый малый вперед» и сказал рулевому:

— Слева по носу видишь пятнышко? Прямо на него!

Настороженно дыша одной левой машиной, тральщик медленно двинулся туда, где чернел крошечный силуэт лимузина. Легкий дымок взвился из трубы тральщика, и его-то и приметили первым делом оба бодрствовавших вахтенных неподвижного суденышка.

— Огонь! — не своим голосом закричал Аклеев и стал бить в воздух из «максима» длиннейшими очередями.

Кутовой пристроился рядом с ним и в четыре приема израсходовал два диска.

— Стреляют, товарищ капитан-лейтенант!... Из двух пулеметов! Прямо в небеса стреляют! — возбужденно доложил дальномерщик Суховею, и, действительно, через несколько мгновений до тральщика долетел дробный треск пулеметных очередей.

— «Ясно вижу» до места! — скомандовал Суховей, и под нежными лучами утреннего солнца взвился и застыл под правым ноком реи красный вымпел с белым кругом посередине — подтверждение лимузину, что его сигнал понят и принят к сведению.

Аклеев выпустил в воздух еще одну ленту, а Кутовой успел дважды перезарядить диски, пока они окончательно не убедились, что тральщик идет на сближение в ними.

Это было совершенно реально и все же настолько походило на сон, что они сперва не решились сообщать Вернивечеру. Но тральщик подходил все ближе, уже можно было различить военно-морской флаг на его корме и алый вымпел с белым кругом, весело развевавшийся над его мостиком.

— «Ясно вижу»! — сдавленным голосом воскликнул Аклеев, схватив руку Кутового.

— И я тоже! — с жаром ответил ему Кутовой.

— Что тоже? — удивился Аклеев.

— Тоже ясно вижу, — простодушно объяснил Кутовой, не имевший ни малейшего представления о морской сигнализации.

— Да это ж сигнал такой. «Ясно вижу» называется! — счастливо рассмеялся Аклеев, от души прощая Кутовому его невежество. — Видишь, вымпел под ноком реи!

Попробуй угадай, что Аклеев называет ноком реи. Но Кутовой все же сообразил, что это, верно, те самые снасти, на которых висит красный трехугольный флажок. А главное, он был теперь убежден, что тральщик идет к ним, и он побежал в каюту, где Аклеев уже склонился над совсем ослабевшим Вернивечером.

— Степан!... Степа!... Вернивечер! —теребил его Аклеев за здоровую руку. — Вставай, Степа! Все в порядке! К нам, браточек, тральщик подходит!...

Вернивечер не сразу открыл глаза. Он боялся показать свою слабость, он боялся расплакаться. Но все же спустя минуту, когда его друзья совсем уже за него испугались, он медленно приподнял свои восковые высохшие веки, увидел исхудалые, но счастливые лица Аклеева и Кутового, склонившихся над ним, и молча им улыбнулся.

— Вон он, Степа! — негромко, словно опасаясь нарушить торжественную тишину, царившую вокруг, промолвил Аклеев. — Вот он, наш БТЩ!... Сейчас мы тебе его покажем!

Он приподнял Вернивечера, чтобы тот через окно мог увидеть приближавшийся корабль. «Параван» был сейчас уже совсем близко, кабельтовых в двух, не больше.

А Кутовой, лихорадочно пошарив рукой в рундучке, извлек оттуда заветную фляжку и глянул вопросительно на Аклеева. Аклеев утвердительно кивнул головой, и тогда Кутовой протянул ее Вернивечеру и сказал:

— Пей, браток! Пей всю, сколько есть! Теперь ее беречь нечего!

Это было похоже на сон: можно не экономить воду! Вернивечер выпил всю воду из фляжки.

— Теперь ты, Степа, приляг, а нам надо на корму, встречать, — деликатно обратился Аклеев к Вернивечеру, но тот протестующе поднял руку и неожиданно сильным и звонким голосом произнес:

— И я с вами... на корму!...

Спорить с ним было некогда, бесполезно, а может быть и несправедливо. Аклеев обнял его за талию, здоровую его руку положил себе на шею и медленно, очень медленно повел еле переступавшего ногами Вернивечера на корму. Тем временем Кутовой энергично смахивал с палубы стреляные гильзы. Очистив палубу, он зачем-то расправил складки флага. Потом Кутовой, тоже неизвестно зачем, стал выдергивать из рамы кормового окна каюты торчавший острым зубом осколок оконного стекла, порезал себе палец, весело рассмеялся, словно это была бог весть какая радость, и заспешил помогать Вернивечеру подняться по трапчику на корму.

Тральщик был уже метрах в пятидесяти, когда трое друзей выстроились на тесной корме лимузина. Они стояли рядом, прижавшись друг к другу: на правом фланге — Аклеев, поднесший правую руку к бескозырке, а левой крепко поддерживавший за талию Вернивечера, у которого от невыносимой слабости подкашивались ноги и нестерпимо кружилась голова; на левом фланге — Кутовой тоже охвативший Вернивечера за талию, а здоровую его руку закинувший себе на шею. Они стояли, равняясь на приближавшийся корабль, и старались, насколько это им позволял повисший на их руках Вернивечер, высоко, по уставу, по-краснофлотски держать головы. Они молчали, глаза их смотрели торжественно, даже сурово. Несколько минут отделяли их от окончательного спасения, огромная радость переполняла их сердца, и это была не только обычная и такая понятная радость людей, вырвавшихся из смертельной опасности, но и торжество, которое доступно лишь настоящим воинам, людям, которые до последнего своего вздоха не сдаются и поэтому побеждают.

Командир «Паравана» увидел с мостика выстроившихся на корме лимузина изможденных, обросших краснофлотцев, сохранявших строй и выправку в минуты, когда им простительно было бы самое неорганизованное проявление своих чувств. Он понял: это севастопольцы — и всем взволнованным существом своим почувствовал, что они заслуживают особой, необычной встречи. И поэтому, когда «Параван» и лимузин поравнялись форштевнями, капитан-лейтенант Суховей поднес к губам свисток. Длинная серебристая трель задорно прорезала праздничную тишину раннего, еще прохладного утра. Это было «захождение». Услышав этот сигнал, все находившиеся на верхней палубе и на мостике «Паравана» встали по команде «смирно». Краснофлотцы и старшины вытянули руки по швам, главные старшины, мичманы и командиры поднесли ладони к козырькам своих фуражек. Так встречают прибывающего на корабль флагмана, а ведь это был только маленький, разбитый рейдовый лимузинчик с экипажем из трех краснофлотцев!

Прозвучали два коротких свистка — отбой «захождения», — два краснофлотца зацепили лимузин крюками, и он впервые за последние пять суток снова продолжал свой путь на механической тяге. Два других краснофлотца спрыгнули на лимузин, подхватили находившегося в глубоком обмороке Вернивечера, которого еле удерживали на своих слабых руках его друзья, и легко передали раненого на борт.

— Теперь оружие! — сказал Аклеев Кутовому, и они попытались поднять «максим». Но сейчас это было уже не по их силам. Краснофлотцы тральщика передали на борт оба пулемета, Аклеев вынул из гнезда флаг, под которым сражался и совершал свое плавание лимузин, свернул его и, крепко сжав в левой руке, с трудом, но все же без посторонней помощи, вскарабкался на борт «Паравана».

— Товарищ капитан-лейтенант! — обратился он к сошедшему с мостика командиру корабля и приложил руку к бескозырке. Он задохнулся от волнения. — Товарищ капитан-лейтенант! Три бойца сборного батальона морской пехоты прибыли из Севастополя в ваше распоряжение: Аклеев Никифор, Кутовой Василий и Вернивечер Степан... Вернивечер тяжело ранен во время боя с немецким торпедным катером. Катер потоплен. — Он передохнул и добавил: — Других происшествий не произошло...

Корабельный фельдшер перевязал Вернивечера, всех троих накормили, насколько это можно было сделать, не убивая истощенных голодом и жаждой людей. Вернивечер и Кутовой сразу же после этого заснули, а Аклеев, поддерживаемый под руку краснофлотцем, поднялся на палубу проверить, как обстоят дела с лимузином.

«Параван» еле заметно двигался. Он шел по инерции, с выключенной машиной. На корме хлопотали у тральной лебедки краснофлотцы, втаскивавшие лимузин на палубу. Вот показался над нею высоко задранный нос лимузина. Аклеев спереди видел его впервые. Ему показалось, что у катерка такое же измученное лицо, как и у Вернивечера и Кутового, умное и усталое лицо человека в очках. Право же, ветровое стекло очень походило на очки.

Спустя несколько минут лимузин уже был на корме «Паравана». Он лежал, накренившись на свой левый борт, маленький, израненный рейдовый катерок, который шесть суток был боевым кораблем и перестал им быть, как только его покинула команда. Казалось, что и он прикорнул отдохнуть, и капельки воды стекали с его днища, как капли соленого матросского пота.

Теперь уже «Параван» шел полным ходом. Его пушки и пулеметы были готовы к новым встречам с врагом, командир по-прежнему находился на мостике. Оттуда он увидел, как Аклеев, проверив, хорошо ли закрепили лимузин, поплелся, с трудом передвигая ноги, в кормовой кубрик, где его уже давно ожидала свежепостеленная койка.

Аклеев уснул, лишь только улегся. В кубрике было жарко. Аклеев спал, ничем не накрывшись. Его пожелтевшая исхудалая рука, свисала с койки... Она висела, как плеть, и вдруг ее кисть, обросшая нежным рыжеватым пушком, сжалась в кулак.